

Иван Сергеевич Шмелёв
Росстани

Десятого июля справляли именины Данилы Степаныча, а заодно и Ольги Ивановны, невестки, но не в Сокольниках, на собственной даче, как последние годы, а на родине – в Ключевой.

Совсем было забыли Лаврухины свою Ключевую с той поры, как разбогатели и повели широко банное и подрядное дело, а тут, с год назад, запросился и запросился Данила Степаныч на родину. Стал прихварывать и киснуть, стал жаловаться, что надоедно зимой в Москве, а летом в Сокольниках шумно и парадно: то музыка, то народ толчется; и вода плохая, а от плохой воды ноги у него пухнут, сна нет и сердце заходит. Показывал его Николай Данилыч докторам – сказали в один голос, что надо собой заняться, и настоятельно посылали на воды; лучше бы за границу, но можно и на Кавказ; ну, а раз не желает ехать на воды, пусть едет хоть в Ключевую: слыхивали и они, что там место хорошее, – пусть себе живет на покое и пьет воды.

Тут все заговорили, что в Ключевой, пожалуй, и в самом деле хорошо, лучшего места и не найти. А главное – родное место. Вспомнили, что два лета жил в Ключевой больной полковник, дышал навозом через оконце в хлев и выздоровел от чахотки; даже в благодарность дал на стройку Наталье, у которой стоял. Тут Данила Степаныч еще более уверился, что поправится там, перестанут отекать ноги и вернется сон: уж очень хороша там вода! Да и Николай Данилыч, лет тридцать кипевший в своих и отцовых делах и за это время только раз пять побывавший на родине, – молодую жену возил – показать родную деревню, мать хоронил, еще зачем-то, наездами, – вспомнил хорошее из детства и рассудил, что старику там будет покойно и не скучно: тетка Арина живет там, будет от всех почет, и к монастырю близко.

И верно, место там было замечательное.

Укрылась Ключевая в тихом углу. Со всех сторон обступили ее крутые горы, не настоящие, каменные, а мягкие, тихие русские горы, с глинистыми обрывами, в черемухе и березах; а под обрывами играла по камушкам речка Соловьяха, гляделась покойными омуточками, вся в тростнике. И тихо было – ни ветров, ни гомона. Из мужиков жили

только старый пастух – звали его Хандра-Мандра – да лавочник Мамай, тоже старый, да еще два-три старика, на покое; а все прочие из двух десятков дворов стояли на фабриках или жили в Москве. Не было пашни, а только усадьбы да огороды.

Рассказывали старики, что вывел их сюда барин из разных губерний давным-давно, как пустили здесь суконную фабрику; потом фабрика не пошла с чего-то, растаскали ее по кирпичику – следка не осталось, а как пришла воля, приказывал им Безбородкин, барин, выселяться на его землю, по разным местам. А они-то попржились и не пожелали расходиться, так и остались в уголку, при усадьбах. А земли здесь у барина не было, кругом слободская.

Жили в Ключевой больше бабы, плели из цветной кромки чуни для богомолок и растили детей. И только с полуденной стороны можно было проехать в деревню, по отлогому месту, ельником, а выехать – все та же дорога – на скит, к монастырю. Мешали обрывы. Не было через Ключевую проезда, и потому вся поросла она мягкой травкой, просвирником, канареечником – ходу не слышно. Вились в кустах, по обрывам, тропки на Маньково, на Шалово, на Горбачево. И так тепло было в Ключевой, что яблоньки, кой-где по усадьбам, зацветали неделей раньше, чем за горой, а черемуха по обрывам – сила была черемухи! – начинала белеть иногда с половины апреля: от холодов укрывали горы. И так было тихо, что, если выйти летним погожим утром и сесть на завалинке, ясно услышишь, как играют бегущие из-под берега ключики да плачет на дальнем конце ребенок.

– У нас и росу слышать, – говорили на Ключевой.

Потому, должно быть, и птиц было много всяких. Даже нелюдимые зимородки многими парами водились по речке, потрескивали по плетням и сараям сороки, и в редком дворе не торчали в березах скворешни.

– Пора и ко двору, – давно уже заговаривал Данила Степаныч. – Людей повидали, спину поломали... Соловьев вот буду слушать...

А соловьев было там, по речке!...

Да и помереть в Москве не хотел Данила Степаныч. Хорониться желал на родине, только не на горбачевском погосте, – где и загороди-то не было, а только канава, – а на монастырском кладбище, под старыми вязами, где жена, бок о бок с собором. Тяжело было вспоминать, как таскали жену в гробу – с дрог да на машину, везли в

товарном вагоне, как всякую кладь, а там опять на дроги да верст двадцать до монастыря. Нет, уж лучше в Ключевой помереть. Тогда, коли приведет Господь помереть в летнюю пору, раздумывал он, понесут его, честь честью, сперва ельничком, потом березничком, полным орешника, берегом Соловьихи, лужками, подымутся на горку, мимо скита. И тут и монастырь. И хорошо будут петь в лесу.

Была у Лаврухиных в Ключевой просторная, в два двора, усадьба. Наезжал иногда старик поглядеть, проведать сестру Арину; поправлял, пообстраивал, помогал деньгами. Осталась Арина вековухой-бобылкой в отцовском дворе, доживала восьмой десяток. Был у Арины пчельник, сидел на пчельнике, за двором, двоюродный брат по матери, Иван Захарыч, бесприютный. Был у Арины и огород, и посылала она в Москву деревенского гостинцу: то меду, то огурчиков, то репы, чтобы не забывали. Живали у ней по летам сироты-внучки, Миша и Санечка, подопечные Николая Данилыча, дети меньшого сына Данилы Степаныча. Взяли этого сына из запаса в японскую войну, и не воротился он. Только и узнали о нем Лаврухины из бумага воинского начальника, что убит в ночной перестрелке у деревни Синь-Ху. И где ни справлялись, узнавали все то же: убит под Синь-Ху. Вот его дети и гащивали у Арины. Кормила она их молочной лапшой и творожниками и заставляла читать Четьи-Минеи.

И когда пришло старику на ум отъехать на родину, на покой и поправку, наказал Николай Данилыч перестроить дом. Съездил сам после Рождества, указал, как что нужно, а чуть пообтаяло – послал артель плотников и маляров, и в месяц поставили они новый просторный дом из толстых сосновых бревен, вывели широкую застекленную террасу, вставили в окна цельные, бемские, стекла, раздвинули садик под окнами и кругом обнесли резным палисадом, наставили белых скворешен и вертунков на крыше. И порадовалась Ключевая, что едет Лаврухин на родину.

Хорошо иметь в Москве сильного земляка, а еще лучше такого, как Данила Степаныч. Из многих дворов служили у него по постройкам десятниками и приказчиками, парильщиками и молодцами в банях, водоливами на водокачках и кочегарами у котлов. Из году в год посылала ключевая воза с березовыми вениками и вязанные из тростника подстилки для бань, отдавала ребят в услужение, ставила девочек-подросточков в няни и горничные

Лаврухиным и родне их по городу. Помнили в Ключевой, как окрутила было Дуняшка Богомолова среднего сына Данилы Степаныча, а он помер от скоротечной чахотки – опился портвейном. А то бы в шляпках ходила!

Кой-кого еще помнил Данила Степаныч. Было на Ключевой два-три старика, с которыми когда-то играл в бабки и рюхи на своей улице, было две-три старухи, с которыми когда-то ломал грибы по лесам и хоронился в Медвежьем враге по весенним ночам. Были мужики у него на работах, которых, бывало, дирал за вихры. Помнил еще иные дворы в Шалове и Манькове: то свояки, то сваты чьи-то.

Теперь по травяным улицам ползала и попрыгивала новая Ключевая, новые дворы встали, повыгорели и повымерли старые, и затерялась память о многом...

И вот опять старый Лаврухин стал близким. Хоть ни у кого не прибавилось ничего, а все-таки веселей стало: все-таки на виду больше!

И еще, как совсем обтаяло и отошла земля, пригнал Николай Данилыч садовника с возом посадок; и только степлело и прилетели скворцы, повеселели в клейких листочках топольки, зелено закудрявились березки, тронуло бархатцем крыжовник, смородину и малину – и засверкало солнце в серебряном шаре на клумбе, в пионах. Заселились веселые, как из кости точенные, домики на шестах, стали скрипеть и трещать по утрам. Зашуршали в пролетцах теплого ветра вертушки на зеленой крыше, и молодо стал глядеть в долгие годы весь голубой, светлый, просторный дом, стал гореть на восход толстыми зеркалами окон в тюлевых занавесках.

И пригнал Николай Данилыч из Москвы молочную, черную с белым, холмогорку, тихого вороного коня, тяжелого, мохноногого, шелковой шерсти в масле; мягкую рессорную пролетку, чтобы ездить папаше в монастырь к обедне; широкую кованую телегу, чтобы возить припасы со станции, и к ней добрую брюхатенькую лошадку. Подарил на новоселье, для полного хозяйства, как молодым, белых гусей и уток, гнездо породистых кур, черных, с белыми ушками, – растрогало старика очень, – садок голубей-чистяков, что ходят на кругах и дают уют дому.

И стал тогда новый дом совсем как полная чаша. Гулко ревела в новом сарае холмогорка, трубила громче всех Ключевских коров,

густо орал по зорям невиданный петух-лошадь; дробно кружились белые голуби.

И сразу обжитым стал смотреть новый двор Данилы Степаныча Лаврухина.

II

На Николин день справили новоселье: привезли пирог и кулич – хлеб-соль, освятили с иконами из Горбачева, опили. Бабы принесли городской крендель, получили за поздравление и до ночи гуляли по деревне и пели песни. И стал Данила Степаныч доживать новую, третью жизнь в уходе у обрадованной сестры Арины, высокой и костлявой, с замшенным от старости подбородком.

Восьмой десяток доживала Арина, а все была пряма и строга взглядом, как и лет двадцать назад: не трогало и не гнуло ее время. Ходила твердо и широко, деловито постукивала корчагами в печке еще могла угрызть корку. И хоть звали ее ребятишки бородулей, а как что – ниток ли на змей, сахарку ли кусочек – топтались под окнами. И хоть звали ее бабы горбоносой, через нее доходили до Лаврухиных.

Стал Данила Степаныч жить под ее уходом.

В теплые дни ходил по садику, с палочкой, в мягких сапожках на заячьем меху и в теплом пальто, прикармливал голубей, поглядывал на длинистые обрывы над речкой, поросшие мелкой березкой-веничком, все такие же, как и семьдесят лет назад. И рад был, что опять здесь и опять все по-старому. И было ему покойно: было все хорошо теперь, а будет... и будет тоже все хорошо. Слава тебе, Господи... слава твоему солнышку!...

А солнышко хорошо грело, если сесть на припор, на новой широкой скамеечке, со спинкой, снаружи палисадника, с видом на лужок улицы, по которому прыгают ребятишки. И ребятишки все те же, белоголовые, звонкие, так же гоняют шара и отщелкивают чижа. И так же мычит под ветлой, напротив, беломорденький, лопаухий рыжий телок, сохнут на бревнах рубахи. И бревна те же, кривые, серые, и травка из-под них растет та же – крапива и просвирник. И краснеет в елках сосняк на горах, за речкой, и лавы на речке все на том же месте.

А рядом, через лужок, через неширокую усадьбу, на которой спокон веку росли две рябины, заменяя отмирающие пеньки новой порослью, на задках которой, приткнувшись друг к дружке, стояли гребешками соседские погребя – лаврухинский и морозовский, на

которой всегда полеживали запасные бревна – лежат и теперь, обрастая травой и въедаясь в землю, – у крылечка, на боковой завалинке, сиживал в теплые дни сосед Семен Иванович Морозов, в памяти так и оставшийся Сенькой Морозом. Теперь он был для прохожих людей не Семен Иванович и не Иванович, а так, старым-старым, без имени стариком, дедом, потому что имя его затерялось в годах и стерлось, как стерлись до времени на работе его черты особенного человека. Все старые деревья ветхостью своею похожи, все дряхлые старики – тоже. Оставил он в прошлом все отличавшие его от прочих людей черты, оставил временное, и теперь близкое вечному начинало проступать в нем. Было оно в запавшем, ушедшем вовнутрь и застоявшемся взгляде бесцветных глаз, в зелено-бурых усохших щеках, принявших цвет кожи заношенного полушубка; высыпалась и поредела борода, засквозило лицо, как тронутое октябрьским морозцем жнитво, пожелтели и заершились брови, а уши подсохли и засквозили на солнышке желторозовой, жидкой кровью. Выступили под сухой кожицей, как скрытые проволочки, загрубевшие жилки, померкли губы, выставились шишками скулы, и уже чуяли в нем зоркие бабьи глаза близкое смертное, тронувшее землей лицо.

Он выходил в валенках, плоских от исхудавших ног, в полушубке из старых заплат, в рыжей шапке и, когда сидел, все поддерживался руками, чтобы не гнуться. Уже ото всего отрешенным знал он теперь себя: прошлое куда-то ушло, а настоящего не было или было оно совсем не важным. И, хотя не было для него настоящего или было оно не важно, все же не безразлично было ему прибытие ко двору Данилы Степаныча. Думалось, что так и должно быть, – и хорошо...

И Даниле Степанычу думалось, что хорошо так, что вот опять стал соседом Сенька Мороз, точно и не порывалась совсем прошлая жизнь, а продолжалась все та же, сбившаяся когда-то с настоящей дороги, долго вертевшаяся по чужим проселкам и снова нашедшая настоящую свою дорогу. Теперь дойдет верно и покойно, куда ей нужно.

И когда в первый раз опять встретились они, столкнулись через лужок слабыми взглядами и покивали друг другу, забылось как-то, что Данила Степаныч стал крепко богатым, что у его сына в Москве – все отдал сыну – большие дома и бани, что сын его ездит на автомобиле и внуки пошли в образованные, а Семен Морозов все тот же, что

получает он от Николая Данилыча за сорок лет службы по три рубля на месяц за попавшую в колесо на водокачке и измятую руку, что сын его служит при банях парильщиком – вот уже двадцать лет моет народ и бегаёт по пальцу Николая Данилыча. И обоим им не подумалось, а так, сказалоь внутри, как понятное и бесспорное, что теперь *те* ходят там по своим дорогам, а сами они вот здесь, на старой лужайке, каждый у своего двора. И то хорошо, и это, и так нужно. И обоим им светит солнышко, и обоим поют скворцы, и оба идут к одному, равные и покойные, оставив позади свое беспокойное.

И когда в тёплый день мая вышли они на свои солнечные места поглядеть на зеленую улицу, поулыбались и покивали друг дружке. Потянулся было Семен Морозов за шапкой, оперся крепко на дрожащую руку, а Данила Степаныч сказал:

– Чего уж... сиди, не свались хоть...

Не слышал Семен Морозов, снял шапку, потряс возле уха, потом долго прилаживал, нащупывая: надел ли; смотрел на Данилу Степаныча, что он скажет. Сказал Данила Степаныч:

– Что-то ты ослабел больно скоро, Иваныч... Ай болеешь?

Опять не слышал Семен Иваныч. Сказал:

– К нам, значит, опять..., назад воротился... совсем... Сказал Данила Степаныч, постукивая палкой, бодро:

– Вот. И в Москве у меня хорошо, и здесь не плохо. Совсем – не совсем, а вот пообживусь, поотдохну... опять съезжу. Погодка-то!... А вот я тебе травки дам, очень для груди полезно и для всего. Сам пью, и доктора ничего... одобряют. Вот я тебе уже дам...

– Ась?

– Травки тебе пить дам! – крикнул Данила Степаныч. – Совсем ты глухой стал! На сколько ты меня годов старше-то?

– Да на сколько годов... Да, сдаётся, ты меня на годок постарей будешь... Мне без году восемь десятков, гляди, вот на Стретенье...

– Ну, это ты... не того... Ты меня на год, а то и боле старше!

– Забыл, может... А Миколай-то Данилыч как? при делах все больших, сказывают...

– Николя у меня... голова! Такие дома закатывает!... Теперь дома пошли-и... – поднял Данила Степаныч палку к небу, – в десять этажей! Накрутили мы с ним... всего!

– Большие вы люди... бо-ольшие стались... Дал Господь!...

И было приятно слушать Даниле Степанычу. Было приятно, что кланялись проходившие мимо бабы, что прислушивалась к его разговору, чуть приоткрыв дверь, старуха – сноха Морозова, что приезжал поутру урядник поздравить с прибытием в родные палестины и стеснялся войти в новый дом с блестящими, как стекла, полами, что он все может – может жить где угодно, а будет жить здесь, на полном покое, потому что так хочет и так лучше.

Радовало его, что играют над ним, вертятся через хвосты белые голуби, которых пугает с крыши сарая вешкой внук Семена; что весело постукивают и скрипят скворцы, звонко трубит еще не обжившаяся корова; что работник Степан повел запрягать лошадь – ехать сейчас к обедне в монастырь надо, – ведет и боится, – что значит не деревенский-то! – что день сегодня теплый, что Сенька Мороз – вот он, и он, Данила Степаныч, здесь для всех первый и благодетель, и почитай вся Ключевая кормится его делами.

III

Как-то приказал он Степану взрыть по заборчику, где солнце, грядку под обещанные сыном левкой. Сел на стул и смотрел, как копает Степан – неумело, по-бабьи, и сердился. Взял лопату, копнул раза два – устал, задохнулся. Сказал с досадой:

– На земле живешь, а земного дела не знаешь! Ну-ну, рой...

Слышал, как пахнет отдохнувшей землей, видел, как черна и сильна земля на его усадьбе: все подымет. И захотелось ему насажать подсолнухов. Представил себе, как начнут они подыматься, жирные, сильные, и будут желтеть тяжелыми шапками, в тарелку. Выбрал из московских дюжину самых крупных зерен, испытал на воду; сам, покряхтывая, нагнулся и насажал рядком. И когда сажал, вдруг пришло в голову – загадал: вырастет их двенадцать штук – шесть лет проживет; вырастет шесть штук – три года проживет. Поостерегся загадать: вырастет двенадцать штук – двенадцать лет проживет. И стало для него важно, скоро ли и сколько подымет их. И все беспокоился, как бы не запотели от холоду. На ночь приказывал накрывать соломкой и каждый день приходил на грядку и смотрел.

И вот, на восьмой день – по календарю высчитал, – стало выпирать сырые комочки и отсохшие колпачки шелухи, стали подыматься сочные и хрупкие, как из зеленого воску, дольки. Считал радостно, что два года еще проживет; потом вышло, что три года еще проживет. И день ото дня становилось их больше, и скоро все вылезли, вытянули и завернули к земле начинающие худеть и желтеть дольки, и пошел настоящий рост. Был так рад, что выросли все, что хороший, легкий у него в комнатах воздух, не заходит сердце, не прибывает вода в ногах и даже как будто опадать стало у живота. Присмотрелся в зеркало и нашел, что желтого в лице стало меньше, глаза светлые, борода белым веером, подумал: «А потому, что много сижу на солнце», – и сказал Арине, чтобы и по будням зажигала все лампадки. Скучно было одному радоваться, послал за Семеном Морозовым, повел его на свою грядку, а сам держал за руку, чтобы не наступил, и показывал осторожно палкой:

– Вот видишь... сам понасажал! Все взошли!

А не сказал, что загадано, – стыдно было. Похлопал Семена по плечу и повел попить чайку «по-соседски» – с медом и кувшинным изюмом.

И рада была Арина, что нет гордости в братце, что совсем помягчел Данила Степаныч, свой совсем стал, и не скучно ему будет теперь. Давно забыла она, что было у ней с Семеном Морозовым в далеком прошлом; забыла и простила, что променял ее Семен на девчонку из Черных Прудов. Век свой прожила с ней бок о бок, всю жизнь не любила, а перед смертью, лет двадцать назад, простилась и сама принесла смертную рубаху, взяла из непригодившегося приданого.

И рада была сноха Семена, уже побежавшая оповестить по дворам, что старик-от чай пить пошел к Лаврухину.

И с того дня частенько стал призывать к себе Данила Степаныч Сеньку Мороза – стал вспоминать в нем прежнего Сеньку – и на прощанье давал то двугривенный, то осьмушку духовитого чаю: так, бывало, ребятами делились они горохом.

Вспоминалось и прошлое, и почему-то резче всего припомнилось, как играли они в камушки на горох и обидел раз Сенька, а он, Данилка, залез на ветлу и ревел:

– Се-енька Мороз... горо-о-шину ужилил... Напомнила им об этом Арина. Так ясно напомнила, что вспомнил Данила Степаныч, как тогда покойник отец отбивал косу и разбил себе палец, а Аришка стояла на бревнах. Так ярко было – чудо чудесное, – вот протереть глаза, и увидишь все. Здесь где-то, близко оно, давнее, и нет его... И многое другое помнили. Помнил Семен, как бил он в Медвежьем враге Данилку. Бились они в Медвежьем враге с Данилкой из-за рыжей девки из Шалова, и одолел тогда Сенька Мороз, тряс за душу Данилку и кричал в посиневшее лицо: «Живот али смерть?» Помнил и Данила Степаныч... Все хорошо вспомнили бы, но об этом не было помину. Так хорошо, что остался на памяти, неведомыми путями, треск замятого в драке куста и высокие белые шапки болиголова, буйно разросшегося в Медвежьем враге, – вот посмотреть отсюда, прямо за речкой, где лавы и где вьется еще и теперь тропка на Шалово.

И вот стали яснеть и жить, казалось, совсем небывшие, затерявшиеся черты былого, вставали, освеженные местом. И чуть ли

еще и не теперь жила с ними вон та, как и тогда, развесистая ветла, на которой ревел о горошине Данилка.

И кто знает, если бы пришел какой чародей и сказал им: «Хотите, вот оберну вас в Сеньку и Данилку, и деритесь опять за горошину, и пусть опять все пойдет старым путем», – не сказали ли бы они ему: «Хорошо!»

И забыл бы тогда Данила Степаныч все черное и тяжелое в своей жизни: как собирал первую тысячу, тревоги и бессонные ночи, как хоронил, как болел; забыл бы свои дома и бани. И Семен Морозов тоже забыл бы все: годы на водокачках и у банных котлов, как в смертном страхе тонул в реке, как замерзал в поле в метель, как помирали дети и как отмяло ему колесом три пальца, – все, что ломало и било его за долгую жизнь.

Не было чародея, а то бы...

IV

В погожие дни брел Данила Степаныч на речку. Работник Степан нес за ним раскладной стульчик. Присаживались и молчали. Данила Степаныч переводил занявшийся дух, а Степан покуривал из кулака на травке. Стрекотали по плетням и сараям сороки, шуршали по коноплям воробьиные выводки. Дремалось на солнышке под сонную воркотню ключиков. Данила Степаныч разминал в меховом сапожке затекающие пальцы и думал, выдадут ли Николе из кредитного под новую стройку до Петрова дня, чтобы вовремя обернуться и не затянуться с гавриковским подрядом, а Степан смотрел на его драповое пальто и сапоги и раздумывал, не откажет ли ему старик чего из одежды, если помрет: все-таки он старается, растирает ему по вечерам ноги мазью, и всегда уж так водится, что за хороший уход дают чего-нибудь из одежды после смерти. А одежда бы ему пригодилась, потому что без хорошей одежды нельзя получить хорошего места в городе.

– Ну, подыми... – говорил Данила Степаныч.

Поддерживаемый под руку, шел он на речку, где лавы, узнавал место, видел, что лавы все те же – три бревнышка с поручнями – и все та же, прежняя, вьется в кустиках по откосу тропка на Шалово, идет мелким березняком-веничком, играют на быри те же голавлики и покачиваются давние, сизо-зеленые стрелки тростника. Бывало, вытягивали их осторожно, как цветочки из ландышника, с тонким писком и скручивали из них лодочки. И шумят-журчат звонкие ключики, как молодые – всегда молодые. А с горы напротив, из Медвежьего врага, потягивает утренней травяной прохладой, и растут там, не могут не расти, белые шапки болиголова, кусточки-дички красной смородины и цапкие плети лесной малины.

Протягивал палку к оврагу и говорил работнику, нанятому в Москве и ничего не знающему про эти места:

– А это... Медвежий враг. Понимаешь?

– Так точно-с, Данила Степаныч... Медвежий-с...

– А почему – Медвежий? Вот и не знаешь.

– Не могу знать-с. Надо полагать, медведи жили?...

– Вот и не знаешь. Тут... давно это было... я мальчишкой еще был... даже и до меня... понимаешь, медведь... зашел раз и увяз... понимаешь? Глина там, ключи... Живьем его тут и взяли... Понимаешь?

– Понимаю-с, с этого самого, значит... от медведя! Говорил вдумчиво, точно все это было и для него важно, и хмуро, как и Данила Степаныч, всматривался в глухую чащу высокого оврага в горе, где мелькало синее пятнышко рубашки: должно быть, там собирали ландыши.

– Вот и прозвали: Медвежий!

Говорил Данила Степаныч, чего не видал сам, чего, может быть, не видали и те, кто сказал ему. Может быть, сказку. Носил ее в себе всю жизнь и удержал в памяти среди вороха всяких дел и кипений. И вот теперь вспомнил и рассказал.

– Теперь медведи за редкость... – сказал Степан. – В зоологическом вот показывают... ситнички продают для прокормления...

И подбирал, о чем бы еще поговорить, чтобы было не скучно Даниле Степанычу. Морщил заросший лоб, двигал белыми бровями, поглядывал к небу – и не находил, что бы такое сказать еще. Родился и вырос в Москве и не знал ничего из здешнего. А на Данилу Степаныча напирало повсюду, куда ни глядел, переполняло всего, и нельзя было удержать при себе.

– Кали-ны тут!... – сказал он и махнул палкой.

– Место очень превосходное, – сказал Степан и посмотрел к палке. – Высота очень...

Шли деревней, и Данила Степаныч припоминал, чей же двор, вглядывался в старые ветлы, в завалившиеся сараюшки, с заплатами из обрубков, в затянувшиеся мохом крыши. Признал у колодца водопойную колоду, зазеленевшую от плесени, огрызанную. Постучал по ней палкой.

– Вон какая... – сказал не то Степану, не то себе самому.

– Не наблюдают-с... Наш Вороной и пить не соглашается...

Узнал большой белый камень, на который становились, доставая воду, на который и он становился, – протертый ногами до желобка. Камень долго живет. Остановился и покрестился на похилившийся кирпичный столбик, накрытый ржавой железкой, сколько уже раз

заплатанной, в полутемном зале которого стояла безликая иконка. Столбик стал совсем маленький, а когда-то был и шире, и выше и надо было дотягиваться, чтобы заглянуть: забивались сюда воробьи.

Выходили под окна бабы, незнакомые, молодые, кланялись и провожали пытливым взглядом. Выбежала худощекая, востроносая бабенка, в красном повойнике, с матежами по всему лицу, с животом, поддернувшим синюю юбку, закланялась низко-низко, зачастила:

– Здравствуйте, батюшка Данила Степаныч! Здоровьице-то ваше как... Отдохнуть коли желательно, я вам и стулик со спинкой вынесла бы... под рябинкой-то у меня хорошо, тихо...

А он поднял палку вровень с грудью и спрашивал хмуро:

– А ты... чья же?

– А Митрия-то Козлова... Козла!

– Козла-а?... Что ж это я не помню что-то... Козла!...

– А как же-с... батюшка Данил Степаныч... а мой Митрий-то гесятником у вашей милости, у Миколай Данилыча... Раньше-то в штукатурах все работал, допреждето, а теперь уж гесятник...

– Черный, что ль?

– Самый, самый он! С бородкой, рыжий, складный такой мужик. За вашей милостью и живем... дай вам от Господа здоровьица, родителям вашим царство небесное, деткам вашим на здоровье, на радость... Не оставили нас, сирот, попечением, добрым словом... просветили нашу убогость...

– А-а, ты какая... лопотуха... Ну-ну... Добеги-ка до Ариши, кваску сюда чтобы дала бутылочного...

– И жарко-то уж вам как, Данила Степаныч!... А я сейчас... Манюшка, стул давай с решеточкой, под часамито... В окно давай, несуразная!...

Пахло крапивой и коровьим навозом в холодке. Толклись мошки под развесистой рябиной. Данила Степаныч, красный, в белом сиянии веерной бороды, тяжело дышал и обмахивался белым картузом. Степан дожидался со стульчиком, сидя в сторонке, в тени крапивы. А с соседних дворов высматривали бабы, перебегали девчонки, – оповещали, что сидит Данила Степаныч у Дударихи на стуле под рябиной, а Дудариха побежала к Арине Степановне за квасом. А поодаль, из-за крапивы, выглядывали ребяташки и шептались.

Узнал Данила Степаныч колченогого пастуха ХандруМандру, старого ворчуна, – очень обрадовался.

Уже забыли, сколько годов ходил пастух за Ключевским стадом, всегда один, без подпаса, – десятка полтора всего было коров в деревне, – и на зиму не уходил, прижился. Был он чуть помоложе Данилы Степаныча, и как был всегда своенравный и зубастый, таким и остался. За то и прозвали его – Хандра-Мандра.

Подковылял сам, когда старик сидел у садика на скамеечке, стащил бурую шапку и тут же надел.

– С приездом, што ль, хозяин! Корову-топустишь?

– А, ты, Хандра-Мандра! Жив еще?!

– Ты жив, а мне што ж не жить! Вместе, чай, помирать будем...

– О?! Ну, живи, живи...

– Поживу, коль так. Чего мне не жить! Скольких я стариков-то перехоронил! Мяса во мне нет, жилка да спленка... еще пятерых, гляди, с меня хватит!

– Ишь ты... – протянул Данила Степаныч, разглядывая маленькое, с кулачок, сплошь красно-бурое пятнышко лица пастуха, с жилками, как у королька.

– То-то и есть. Я вон, постой, Семена Морозку еще схороню да вот Мамайку, разбойника... на табачишко вон семитку накинул, шутыи его возьми! А то и еще кого... И тебя, может, еще схороню, что думаешь?! Я на жилке держусь, не скусишь!

Хитро смотрел на грузного, расплзшегося к бедрам Лаврухина, помигивая белком попорченного глаза, и с трех шагов слышал Данила Степаныч знакомый дух стада и махорки. И как будто все та же была на Хандре долгополая кофта, обдиравшаяся слоями, в лоскутьях которой держал он кисет и газетку, – залитая смолой, давняя. Дубленое было лицо его с ветров и погоды, со скуламишишечками, без щек. Втянулись они под скулы, поросли серой щетинкой, и только в бровях еще чернело кусточками: посмыло кой-где дождями.

– Поднесешь чего – уберегу коровку, пожальствуешь – та-ак бока настегаяю!... Со мной не шути... хе-э... С тебя должно супротив кого

другого итить...

– Ну-ну... А ты, Хандра-Мандра... глазок оловянный!... Как раз и вспомнил: оловянным глазком, бывало, звали Хандру, да забыли. Даже пастух подивился и прояснел.

– Упомнил! Эх и стары же мы с тобой стали, Степаныч!... Оба в дураки выписались...

– Что ж это ты так... – нахмурился Данила Степаныч. – Ты, брат...

– А то как! Я вон весь век за коровами, ты за рублем ходил... При том и стались: у тебя рубли, у меня коровы... Ей-Богу! – хитро помигивал белком Хандра. – Может, ты и умней всех... дом-то какой! а я будто с придурью... Ну, давай рядиться. Кажну зорю стану тебе играть веселую.

Порядился на бутылке и рубле – за особый пригляд. Ходил взглянуть на корову. Обошел с боков, помял вымя, подавил кривым большим пальцем на крестец, отвернул хвост, посмотрел на зеркало, сказал:

– Огулёна по третьему месяцу.

Потянул за рог, перебирал пальцами, смотря в угол; прочел, как по книге:

– Ничего жуколочка... по четвертому телку. Вымистая, ничего... Красных восемь дал?

– Ну, ладно, ладно... там сколько ни дал... – осердился на что-то Данила Степаныч: немели ноги или обиделся, что так оценил.

Ушел в дом, а Хандра-Мандра остался под окнами, дожидался. Вынесла ему Арина стаканчик водки и яичко.

– Попригляди уж за коровенкой-то... московская ведь...

– Да уж... гхе!...

Покрестился и потянул из стаканчика, не спеша, запрокидывая голову. Сказал сипло:

– Шибко доиться будет, тетка Арина... без зацепу проскочило. И где вы такое винцо берете!...

Обсосал ус и заковылял, закручивая на ходу через спину свой долгий кнут.

А на зорьке разбудила Данилу Степаныча жалейка под окнами. Сперва и не разобрал, что такое. С минуту лежал затаившись, слыша, как застучало сердце, и когда понял, что это Хандра-Мандра играет,

заложил руки за голову, устался в сосновый потолок и слушал. Ах, жалейка!

Ти-и-а-а-и-и-и-а... ти-и-и-и-а-а-и-и-и...

Ах, жалейка!

Шло давнее, в ноющих переливах, далекое, совсем похороненное. И уже видел Данила Степаныч, как верха Медвежьего врага золотятся, лужок в росе, на речке туман, окна горят к восходу...

Закрыл глаза, совсем затаился, не слыша затекших ног, а Хандра-Мандра все играл, все глубже вытягивал, тащил из страшной дали живые вороха...

Ревели коровы утренним бодрым ревом. И в этих ревах и живых вскрикиваниях жалейки пробиралась тоскливая дума, что это последние голоса и жизнь уходит. Самое-то хорошее и прошло.

Скрипнули творила сарая. Сиплый, утренний, голос Арины понукал ласково:

– Ну, ну, дурашка... Христос с тобой, матушка... иди, иди...

Слышалась в тихом утре тяжелая ступь, и потянуло сытое тягучее мычанье. Крепко, как из пистолета, ударил кнут, побежало, рассыпалось по горам и отдалось в овраге. Всегда отдавалось. Мальчишками стояли, бывало, у крайней избы, где жил старик Золотой, – когда было! – и кричали к оврагу. И отвечал овраг. И теперь отвечает. И петухи в овраге поют, и жалейка играет, и перекликаются бабьи голоса.

И когда услышал Данила Степаныч, как рассыпалось шелканьем, сказало в нем затаенное, что хорошо это, что он опять здесь и теперь уже больше не уедет. Что это все было неизменно полвека, когда его не было здесь, и каждое утро играла жалейка, и без него продолжалась его детская жизнь. И было ему грустно, и думалось, что уже выводятся настоящие пастухи, помрет Хандра-Мандра и здесь уже не будут играть так. Последние это пастухи.

И припомнилось ему еще, как лет тридцать назад приезжал он сюда с жидом-компаньоном, которого звали Яша, – через него купил он на слом княжеские дома на Поварской и выстроил на складчину первый доходный дом и выгодно продал. И привез он тогда этого

Яшу, – вот был человек! – к себе на родину, показывал на радостях свое место, – вот откуда вышел! – а Яша хвалил все и говорил: «Вот место хорошее! вот где дач можно наставить!» Пили тогда они в большой компании, заставили ловить по омутам рыбу и раков, – сила раков была! Пили-пили, девок согнали, уху варили... Было дело... А на зорьке заиграл Хандра. Призвали его тогда на свое гулянье, к ветлам, за деревню, и напоили. Коньяком поили. Вот тогда он играл! Жид плакал и все хотел дачу себе на горе ставить и жить совсем. А Хандру в омуте купали, приводили к жизни...

Давно было... А там еще и теперь стоят ветлы, и можно собрать мужиков праздником, ловить рыбу, закупить коньяку и рому, можно позвать Хандру, и будет он играть... А жид тот помер уже...

VI

Подсолнухи на грядке вытягивались, выравнивались, ширились. На огороде, за погребями-соседями, черные гряды сплошь затянуло сочными огуречными плетями, и стоял там, когда ни взгляни, как будто старый ХандраМандра, рваный и кривобокий, распялив руки. Поставили его с весны – для гороха, и будет стоять так до осени – в огурцах.

Тих и тепел был май, тепел был и июнь, с тихими дождичками. Старый огород, лелеемый теткой Ариной, все еще был в силе, густо зацвели шершавые огуречные побеги, и исстари облюбленный горох оперился и пышно завился вокруг хворостин веселой зеленой рощицей.

Полюбил Данила Степаныч день за днем примечать, как в огороде день ото дня прибывает желтого цвету, а на горохе виснут лопаточки. Полюбил захаживать и на пасечку, позади огорода.

Маленькая была пасечка, старенькая, колодная. Всего только пять дупляков стояло, накрытых дощечками с кирпичиками, потрескавшихся и кой-где стянутых ржавыми обручиками и сбитых жестянками, – давние счастливые улы. Когда-то, еще при покойном деде, на лаврухинской усадьбе была лучшая пасека, в сорок колод, и приходили из округи за удачливыми роями – благословиться к почину: удачлив был дед на пчелу, хорошо знал пчелиную повадку. А теперь оставались поскребушки: переводиться стала пчела. Но эти уцелевшие пять колод для Данилы Степаныча были не пять колод, а давний пчельник, в березках и рябинках. Только из берез-то оставалась одна-одинешенька, старая-старая, без макушки, да были еще поспиленные ветлы да обраставшие горьким грибом пеньки рябин. А когда-то всю пасеку освещало на закатах с пышных рябин красным горохом.

Как-то теплым июньским утром тихо прошел Данила Степаныч на пасеку. И что же увидел! Увидел своего деда Софрона. И рост такой же, и голова белая-белая, без лысинки, и повыгоревший казакинчик, в заплатках под рукавами. Стоял дед в росистой траве по колено, над дупляком, оскребал верха в буром гудливом рое, как дед Софрон,

бывало, поутру. Конечно, это не дед Софрон был, а так похожий на деда двоюродный брат по матери, глухой Захарыч, который жил у Арины: пришел из Манькова, из пустого двора, помирать на людях. Знал Данила Степаныч, что живет Захарыч у Ариши, как в богадельне, что внучка его, одна живая душа из семьи, выдана была в Шалово и теперь едва держат ее в мужниной семье, а муж, слесарь, пропал без вести, когда была на Москве смута.

Когда жил в Москве Данила Степаныч, за всякими делами и своей семьей все перезабыл, как и где кто живет из родных и свойства. Точно и не было никого. А как стал жить здесь, стал вспоминать. Оставалось еще родни. Вот двоюродный брат Захарыч, вот еще какая-то Софьюшка есть, внучка Захарыча, и ему тоже вроде как внучка, какие-то еще племянники внучатные, дети троюродной сестры, которая теперь монахиней где-то или уже померла, – гармонисты, играют на посаде в трактирах. А в Шалове – крестник, теперь сильно разбогатевший, Василий Левоныч Здобнов.

На свободе, за самоваром, разобрали они с Ариной всю родню. Она всех знала, до грудных младенцев, ездила, как праздновали престол, то в Шалово, то в Маньково, то в Черные Пруды, – не теряла родни. Знала много всяких семейных случаев, кто и когда горел, кто чем помер, кто кого брал и откуда, кто выделялся. Многие далеко разошлись. Был теперь внучатный племянник в Сибири, на пароходах, была троюродная внучка выдана замуж за парня из Горбачева, а теперь очень хорошо живет, – приказчиком он на хорошем месте, только ехать туда надо две недели, Хива называется.

«Распложается народ, друг от дружки горохом катится», – вспоминались Даниле Степанычу слова Семена Морозова.

Говорил Данила Степаныч и с Захарычем, который все кланялся ему и называл «батюшка-братец», побаивался все, а ну-ка не позволит ему доживать здесь – летом в сарайчике, на задах, а зимой – в доме. Очень все беспокоился Захарыч, как принялись ставить дом, – рассказывала Арина. Данила Степаныч успокоил и велел жить без сомнения: места не пролежит, хлебом не объест. И все видел, как Захарыч робеет при нем, когда зазовут его пить чай в горницу, пьет чашку с одной изюминой и все старается услужить: то медку пообещает скоро припасти, то чай похвалит, то вспомнит, как его зять любил, «сресаль». И когда рассказывал про слесаря, плакал.

– Бывалыча... побывает когда из Москвы... к покосу... – рассказывал он и моргал красными, без ресниц, веками и уже ничего тогда не видел: сахар по столу нашаривал и мимо блюдечка наливал, – все калачика... а то сахарку хунтик...

Часто говорил про сахарок и про слесаря.

Узнал Данила Степаныч, как все собирался слесарь, Иван Арефьич, жену к себе выписать, все хорошего места дожидался. И Софьюшка все ждала и обещала Захарычу по три рубля высылать. А не вышло – пропал слесарь безо всякого следа вот шестой год как... А смиренный был.

Окликнул Данила Степаныч Захарыча – пчел боялся, – не услышал старик: совсем глухой был, да еще пчелы мешали. Смотрел Данила Степаныч, как накрыл старик улей, как пошел к березе, перекрестился и поцеловал на березе черную дощечку. И узнал он эту дощечку: Зосиму и Савватия, пчелиных покровителей. Каждый шаг, каждый день точно на радость ему сговорились открывать хорошее прошлое. В это утро вот вспомнил он образок, который висел с давней поры на пасеке, на проволочном ушке, на гвоздочке в березе. На зиму его уносили во мшаник. Сколько раз он и сам, бывало, целовал эту иконку, на которой стояли два старца, а за ними церковка с главками. Хорошо помнил и хлопотливый гул пчел в солнце, росе и зелени, и золотистую ворохню у летков, у пупков колод. Полвека не останавливается работа. Полвека все то же.

– Захарыч!

И опять не слышал Захарыч, выбирал из головы, над ухом, запутавшуюся пчелу. Все то же. Все так же, бывало, и дед Софрон.

И тут увидел Данила Степаныч лоскутное одеяло на плетне и выглядывающего светловолосого мальчишку в белой рубашке. Мальчишка смотрел на него из-за колышков прясла, выглядывал одним глазом, прячась за колышек. Поманил его Данила Степаныч палкой, но мальчишка совсем укрылся за одеяло. Тут услышал Данила Степаныч молодой бабий окрик:

– Поди, Ванюшка! Данил Степаныч зовет, поди...

И тут увидел Данила Степаныч в пролете плетневого сарайчика молодуху в белом платочке и голубой баске. Кланялась ему. Кто такая?

– А ты кто ж такая? – спросил он, подымая палку.

– Здравствуйте, Данил Степаныч... А Софья я, внучка вот дедушкина, Иван Захарычева. А тот мой, Ванюшка мой... Поди, Ванюшка, не бойся...

Но Ванюшка и теперь не шел, выглядывал половиною головы из-за одеяла. Трещал плетнем.

– А-а... Во-он вы кто-о! Ну-ну, покажись, покажись... Да-а, вон вы кто-о! Ишь ты, хорошая какая... бабочка...

И слово, давно не приходившее на язык, вышло у него ласково – бабочка.

Чернобровенькая была она, как галочка, смуглая от загару, тонколицая, с бойким взглядом, сухощавая, складная.

Тут и Захарыч услышал говор, подошел, перебирая поясок на ситцевой белой рубахе в черных горошинках, и сказал, взглядом пытая бабу:

– А Софьюшка вот... сресалева-то... Побывать вот пришла... на денечек...

Тут уж и Ванюшка пересигнул плетень, подобрался сторонкой и поглядывал. Сучил босыми ногами в потемневших с росы розовых штанишках, похожий на мать – тонколицый, с черными бровками, в золотухе, сильно высыпавшей на губах и у носа.

– Ванька вот, Данил Степаныч... правнучек мой... дождался, Данил Степаныч...

– Грамоте уж умеет, буквы уж разбирает... – сказала Софьюшка.

– Та-ак. Вот и расти. А там Николая мой приставит его куда там... – сказал Данила Степаныч, оглядывая Ванюшку, закусившего рукав рубахи. – Чего портки-то как обросил?!

– Покорно вас благодарим, Данила Степаныч... – быстро заговорила баба. – Только бы вам веку Господь послал.

– Ну вот, уж как-нибудь... Не чужие... Плохо живется-то, а?

– Без мужа, Данил Степаныч... плохо... – сказала баба, потупив глаза и косясь на широкие, блестящие от росы калоши Данила Степаныча.

А Захарыч помаргивал и покачивал головой, стараясь понять, о чем говорит братец. Смотрел поочередно на всех, перебирал поясок.

– Да, да... Ну вот, как-нибудь! – сказал Данила Степаныч и стукнул палкой.

Понравилась ему молодуха, скромная ее повадка и как она опускала шустрые глаза и поджимала маленькие губы, и черные ее бровки, точь-в-точь как у его невестки, Ольги Ивановны, когда была молодой. И сироткой, пугливым показался ему Ванюшка. Правнук вот! Тут, на солнце, у пчел, перед черной иконкой, перед откликнувшимся прошлым – так же, как этот мальчонка, сигал он, бывало, через плетни, – мягко и болезненно взглянул он на этих, все как будто родных, и сказал, не раздумывая:

– А плохо, так здесь живите! – И посмотрел к черной дощечке. – Вот, у его и живите. Арише помощь...

– Покорно благодарим... – начала было Софьюшка: не ждала.

А Данила Степаныч уже шел с пасеки. У погребов остановился, задумался, повернулся к сараю и поднял палку.

– Живите и навсегда здесь, в дому!

Пошел, постукивая, задохнувшись, неся в себе теплое, сам растроганный тем, что сказал.

Исподлобья глядел на него Ванюшка: чего так кричит? А Захарыч тревожно выпрашивал:

– А чего говорил-то, Софьюшка... ась?

И когда сказала она ему, крикнула к уху:

– Здесь нам велит жить, дедушка! Ласковый! – старик потоптался и зажевал губами:

– А-я-яи, бра-атец... а-а-а...

Сновали пчелы, благодушно трубили. Пахло сырой землей и березой, старой пасекой, разогретым ситцем на бабе и тем пресным зеленым духом, что набирается там, где много сочной густой травы, прогретой солнцем. Пахло росистым июньским утром.

И когда шел Данила Степаныч с пасеки, остановился у огорода, поотдохнул от захватившего его волнения, поглядел и сказал про себя: «Славно растет!» Смотрел, как сновали по грядам пчелы, залезали в золотые кувшинчики огуречного цвета – шевелились кувшинчики. Уже обобрали они горохи и все кружились по редким верхушечным цветам – нет ли еще чего?

«Укропцу-то хорошо бы... к огурчикам-то... Бывало, по краешкам укроп все...».

Вспомнилось, как свешивались с гряд крупные огурцысемянки, а над ними черно-золотые зонтики душистого укропа. Захватишь снизу

– как крупа посыплется между пальцев.

Благодатное было лето. Рано и споро росло все, цвело, зрело. Теплые были росы, густые, слышные. Падали тихие солнечные дожди с радугами. Хороши были в это лето горохи, огурцы, травы. Орехов была сила, – говорили ребята. Все сочно и весело смотрело на Данилу Степаныча, точно говорило: «А вот мы! все те же мы! и тогда, давно, мы – и теперь мы! всегда мы!» Точно сговорилось все радовать его, показаться казовой стороной.

И когда смотрел на огородик, думал, что маловат он, что надо его раздвинуть, перетолковать с соседом, взять у него в аренду его половину и пустить на тот год большой огород: все равно чужое в Москве покупают. Понасадить капусты, свеклы, моркови, всего... Маку насеять для охоты. Бывало, в уголушке там, к погребку, мак сеяли: глаза порадовать!...

И нападала на него жадность – сажать, сажать... Думалось, хорошо бы яблонек хоть парочку посадить – белого наливу, китайских: осыпучие бывают. И стояла в нем дума не дума – не привык он вдумываться до конца, – а как бы тень думы невеселой, что поздно. Надо бы раньше, исподволь все завести, и теперь были бы яблони. А капуста!... И вспоминалась крепкая, с заморозками, осень. Уже октябрь, уже в кадушках вода пристывала по ночам. Резали в сенцах капусту, тугую, белую, с хрустом вспарывали вилки, вырезывали кочерыжки. Откусишь – даже звякнет. С песнями рубили...

За делами в Москве и в голову не приходило, что есть еще дела, которые ему по сердцу, как теперь вот: взял бы вот лопату и стал копать. А нельзя, нельзя теперь – и сил нет, и вредно. Было даже любо смотреть, как Степан, хоть и неумело, выворачивает черную землю с хрустом, сечет розовые корешки, выкидывает белых хрущей. Пробудилась давняя в нем, от поколений зачатая, страсть – сажать, сажать, растить.

А издали следил за ним белый Ванюшка, крутил жгутом и драл зубами пруток, смотрел поверх прутика – строгий дедушка, большой.

Белело что-то за плетнем огородика, с уголка, к избе Семена Мороза. Пригляделся Данила Степаныч: маленькая девчоночка задрала платишко, присела и выглядывает из бурьяна, красная.

– А, ты, какая... расселась!...

И посмеялся, как шуркнула девчонка по лопухам на задворки. Знакомое, бывалое все. Таким и осталось. Таким и будет.

Пришли белые гуси с речки, за ними утки. Стояли у крылечка, просили у бабушки Арины есть. Пошипел гусак на Данилу Степаныча, покружил шейей, погрозил уклюнуть и затрубил, затрубил...

И каждый день много было тихих и радостных дел у Данилы Степаныча: то огородик, то пасека, то посидит у сарайчика, под малинкой, пьет свою воду, с Ванюшкой поговорит. Загадки даже загадывал. Тыкал в живот, выпятившийся над опояской, спрашивал:

– А ну-ка, что будет? «В лес путь-дорога, на пупке тревога, в брюхе – ярмонка»? Ну?

Ванюшка пятился, прижимал золотушный подбородок к рубахе и глядел исподлобья в густую белую бороду, в желтое пухлое лицо. Глядел и думал: какая борода-то, как веник!

– Ну, что? Вот и не знаешь... рубаху-то квасом залил? Во-он они! – показывал Данила Степаныч на колоды.

Стояли они, как старые червивые грибы-березовики, в высокой траве.

То по садику ходил, смотрел на свои любимые подсолнухи, уже начинавшие темнеть усатыми маковками, и радовался. И то голуби, то проскакивавшие со двора в дырки палисадника черным горошком породистые цыплята:

– Шшш!...

VII

Прошли теплые дожди, пошли белые грибы-колосники. Как-то поутру подслала мать Ванюшку с кузовком к Даниле Степанычу.

– Поди, поди... не бойся...

Ванюшка терся у заборчика, боялся идти. Сказал сипло в прорез палисадника:

– Грибов на!

– Да громче ты, не слышит...

– Грибов на!! – крикнул Ванюшка.

Услыхал Данила Степаныч, подошел к забору, увидел в кузовке буренькие шляпки, и захотелось ему свежего гриба на сковородке, хоть и запретил доктор.

– Ну, давай, давай... Уж и грибы пошли!

– Грибы пошли... – сказал Ванюшка, смотря в кузовок.

И не видал, как мать показывала ему с уголка: отдай!

– Кому ж грибы-то?

– А вот набрали... – сказал Ванюшка, шмыгая носом и колупая пальцем в лукошке.

Взял Данила Степаныч грибы, дал Ванюшке двугривенный, наказал матери снести. Сказал, щурясь:

– Вот бы ты меня и сводил по грибы-то, показал...

– Они в лесу-у...

И пустился, зажав в кулачке двугривенный. Набежал на мать, уткнулся в живот головой и показал двугривенный.

А Данила Степаныч хоть и шутил, а на другой день, чувствуя в себе силы, ходил по ельнику, у деревни, с работником – грибы смотрел. Не нашел хороших – далеко было до березняка, – зато послушал, как хорошо ворковали ветютни. Сидел на пеньке, откуда через редкий лесок виднелась тихая Ключевая. Господи! Сколько раз так, бывало, сидел, давно-давно! Бывало, возвращались с дальнего лесу, из-под Скачкова, с грибами. И Сенька Мороз, и Танька, и еще... Считали в елках, у кого сколько. Тогда тоже елки маленькие были, поросль. Чистили корешки. А позади, где был тогда старый сосняк,

играли ветютни – то тут, то там, – заманивали, а близко не подпускали. А на деревне синие поздние дымки кой-где...

– Это что ж, по-твоему, уркает... ур-уррр? – посмеиваясь глазами, спрашивал Данила Степаныч работника.

Степан подымал белые брови, настороженно-вдумчиво глядел на верхушки елок и хитро прислушивался.

– А это... уж какая-нибудь птица, Данила Степаныч... Может, коршун где в гнезде... а похоже, как скворец...

– Скво-рец! Ветютень это!!

– Возможная вещь, что...

И опять слушал, завернув голову к глубине леса.

– Ничего-то ты не знаешь... возможная вещь! Не жил в деревне, вот и не знаешь.

– Никак нет, Данил Степаныч, не знаю. Я сызмальства все в Москве. У нас папаша блинками в Охотном торговали, а мы в услужение пошли. Я вот при банях мальчиком стоял, в дворянских... простынки накидывал, потом в молодцах... Очень хорошо в лакеях в богатом доме, но только хорошая одежда требуется...

– То-то ты и гриба не знаешь... Говоришь, сыроежка это... – показал Данила Степаныч на гриб в корзиночке. – Какая же это сыроежка! Свинуха это! А эта вот... лисичка, желтенькая-то... а это валуй. А это... Ну, что это? Вот и не знаешь!...

– Не могу знать...

– Ко-зленок!

И было ему радостно учить ротастого, белобрысого Степана – с придурью он! – всему своему деревенскому прошлому, которое помнил еще, и рад был, что помнил. Сам себя проверял, помнит ли. Присматривался к кустам: все помнил. Узнал и показал Степану волчьи ягоды, на лужку признал отцветавшую уже любку, липкую смолянку. Молодыми радующими глазами смотрело на него все, точно потерял было он все это, а теперь нежданно нашел опять. Все приводило за собой из прошлого многое – не назовешь что, а только порадуешься, прикоснешься душевно, как было в первую зорю, когда играл под окном Хандра-Мандра. И грибы-то набрал никудышные, мог бы купить бельевую корзину настоящих белых, а показывал палкой каждый гриб и наказывал класть в корзинку. Услыхал дятла, остановился – где сидит-долбит?

– Вон они, за сучочком-то... – вытягивал губы и показывал пальцем Степан. – Вон они теперь перелетели... на сучочек-то... головкой-то вниз висит... головкой-то стучит...

– Белки тут бывали...

– Ужель даже белки?! Вот какое ваше место замечательное! Все есть. И медведи, и... все!

Легко было дышать в лесу поутру. И не мучила одышка, как в Москве. Пройдешь, посидишь. И нет-нет и подумается: как на стройке, как торговали бани в субботу, уплатит ли в срок, к июлю, Коровин за аренду семейных... Слышал даже, как стучат молоточки кладчиков, шумят ноги по доскам на лесах. А здесь-то как тихо!

Дошел до большого омута, «монастырского», – дорожка к монастырю тут, – где когда-то, и сам не помнил, была запруда. Взглянуть, остались ли голавли. Хорошо помнил их: ни за что нельзя было взять их бреднем – весь был в карчах и затопленных сучьях старый омут. Посидели на берегу, поглядели на тихую, желтоватую в тени кустов воду. Были голавли! Стояли на солнышке темными полешками, пошевеливая красными плавничками, сытые, давние. Может быть, те же всё: ведь рыба долго живет.

Показал Данила Степаныч палкой:

– А это вот голавли... При мне еще были!

– Голавли?! Во-от... – И смотрел на голавлей вдумчиво.

За омутом, на отвесной стене обрыва, заросшего березняком, шелестели и встряхивались кусты. Выставилась в зелени голова в красном платочке и спряталась. Падали зеленые ветки, и признал Данила Степаныч, что веники это режут – в бани, в его бани, сыну Николе, шесть рублей тысяча. Думал, что должны бы быть пни там березовые, – гонят и гонят они сколько лет все молодые побеги, а после Успеньева дня, как дожди, высыпают по пням опята. И захотелось ему на жаре горького чего-нибудь, горьковатых опят, соленых, как, бывало, засаливали их кадочками и зарывали в лед до поста. Крепко хрустят на зубах. И сказал Степану:

– Не забыть бы сказать Аринушке, наказала бы она... есть уж, может... осиновичков да березовичков понабрать... посолить бы...

Тоже похрустывают. А до опят далеко еще...

VIII

Не скучно было Даниле Степанычу без своих: навещали.

Прислал Николай Данилыч гостить к дедушке сирот: Мишу и Санечку. Светловолосые были они, беленькие, как из воска, хрупкие – болезными называла их Арина, – в покойную мать. Тихие были, особенно Санечка.

Приехала она в коричневом платье, в черном фартучке – показать, что поступила в гимназию, – показалась и переделалась в синенькое, как наказывала тетя Ольга Ивановна. До обеда сидела в садике на скамеечке, завернув ножку за ножку, и вязала кружева из миниардиза. Так наказывала ей Ольга Ивановна. А Миша не отходил от Данилы Степаныча, помогал выгонять из сада цыплят и рассказывал про училище.

За обедом Данила Степаныч радовался на внучков, как они хорошо сидят. Оттого и смиренные такие, что сиротки. Вспоминал пропавшего на войне сына, скорбел и успокаивался, что положил на внучков по пять тысяч, а Николая и Ольга Ивановна воспитают и не обидят. Гладил Санечку по тонкой косичке в голубом бантике и жалел – худенькая какая! И Мишу жалел: тонкий какой да бледный.

После обеда уходил отдохнуть и отпускал погулять до ужина. А когда была дурная погода, собирались все в зальце, и Санечка – любила ее тонкий голосок Арина – читала Четьи-Минеи. Данила Степаныч подремывал, Арина вязала чулок, а Миша сверлил гвоздиком для свинчатки бабку или вертел петушков из старых тетрадок. Так и сидели все четверо. А по углам, как подходил вечер, начинали шуршать черные тараканы, не покинувшие старого места. Всегда у Арины водились тараканы – к прибыли, говорят, – и рада была она, когда и на новоселье увидела первого таракана. Теперь их было много: все приползли. И когда читала Санечка, то поджимала тонкие длинные ноги в черных чулках: боялась тараканов.

И не скучно было Даниле Степанычу. По воскресеньям приезжал на автомобиле Николай Данилыч – иногда с семьей, а то один с доктором.

В урочный час Данила Степаныч поджидал у садика, на скамеечке, посматривал к ельнику, откуда приезжали: не услышит ли знакомого гудка. Миша и Санечка издали еще признавали торкающий шум машины, кричали, что едет дядя. А Данила Степаныч не слышал.

– Так, может... елки шумят...

А потом видел, что и ребяташки бегут за деревню, – значит, едет. И сам начинал слышать веселые вскрики хрипучего гудка: едет. И уже слева, близко, из Медвежьего врага начинало стучать на лесной стене и гудеть. Выкатывала из ельника красная машина, мягко катила спуском, по травяной дороге, в лае на скакивающих собачонок. Были видны широкие плечи в чесуче – Николя! – красный зонтик невестки, голубой шарфик Паши и плотно, как в кресле, сидящего шофера Попова, в гороховом балахоне и кепке, знающего свое дело. Что им полсотни верст! Два часа. Мягко подкатывали развалкой, Попов, не ворочая головы, подымал кепку, а Миша трубил-трубил, и в овраге трубило.

Какие все рослые!

– Все в Москве слава Богу! Торговали хорошо... стройка идет...

Вечером уезжали, и опять Данила Степаныч слушал, как глухнет гудок и тает приятно-трескучий шум.

Приезжал иногда с Николаем Данилычем и доктор Цветков, и каждое воскресенье – а последнее время и по будням – шумно подкатывал на мотоцикле любимец внук, Сережа, студент коммерческого института, веселый здоровяк, с золотыми кружочками на плечах. Несла ему Софьюшка тряпку, помогала вытирать пыль с машинки. И когда сидели они рядом, Сережа и Данила Степаныч, один – с пушистым румянцем и упруго завившейся русой прядкой на лбу, а другой – одутловатый и желтый, с белыми, еще не сдающимися прядями на висках, видно было, что это родные. Были похожи широкие открытые лбы и носы луковицами – добрые русские носы. А серединою между ними был Николай Данилыч, покрупней и пошире Сережи, уже седеющий чуть-чуть по вискам, с медным от загара лицом и волосатыми руками сильного, делового человека.

Доктор был «свой» – вылечил Николая Данилыча от тифа, – и поговаривали, что, может, и совсем своим человеком будет: нравился он старшей внучке Любе. Был под стать семье, такой же здоровяк,

только порядком лысый с чего-то, ходил щеголевато, во всем цветном и мягком, с цветочком ромашки или колокольчика за кармашком.

Сейчас же садились за пирог, и доктор с будущим тестем пили черносмородиновую листовку.

– А лихо у вас! – хвалил доктор. – Пейзаж, и всякая штука... Уж заведу я себе как-нибудь на днях такую-эдакую... виллу!

– Коровин что-то тянет... не платит... – похмуриваясь, говорил Николай Данилыч. – Вчера поставку заключил с Полянкиным... полтора миллиона кирпичу...

– У-у... что, много? – опасливо спрашивал Данила Степаныч.

– Не много, а... мало! По двадцать семь взял, а сегодня звонили от Шмурыгина – тридцать два, ни копейки меньше. А надо мне до двух. Рвут – на осень вся выработка запродала...

И когда ел пирог, и когда чокался с доктором, бежали по крепкому медному лицу дела, дела. А доктор смеялся, что Попов так и просидит до вечера в автомобиле. Посылали ему пирога на тарелке и стакан красного.

Данила Степаныч забывал, что ночью опять не спал от удушья – заливало, что поутру опять заходило сердце. Опять захватывали «дела», и такие все крепкие, молодые были возле. И Сережа ободрял:

– А у вас, дедушка, вид совсем превосходный... подзагорели...

– От тебя перешло. Ишь насажал, – тыкал Данила Степаныч в Сережину тужурку, – крендельков! А я вот такой же был... шел, помню, в Москву за счастьем... и машины еще не было... Полотенчико через плечо, мешочек, а в мешочке-то... портяночки да рубаха... да хлебца...

– Были те времена, Данила Степаныч, доисторические... – говорил доктор, вынимая из-за вспотевшего ворота салфетку и вытирая ею лысину. – Да вы и теперь еще верст двадцать отколете! Ну-с, теперь послушаемся, какие такие у вас новости. Грибки вот все кушаете...

Уходили в спальню, где душно пахло афонским маслом от лампадок, выпотом старого тела и лекарством.

– Окошечки-то открывать бы надо... А нуте-с... присядьте в креслице...

Опускался на корточки, пряча красную шею в складки набегающей чесучи, посапывал и выслушивал ухом, а Данила

Степаныч видел у самых глаз запотевшую розовую лысину с веточкой жил в виде крыжика и слышал, как крепко пахнет от доктора табаком и духами. Посматривал на темную Казанскую, на крышу Семена Морозова в окошке, мшистую, бархатную. Тяжело дышал.

– Хорошо-с... теперь не дышите... Не дышите, когда опять заливало!

Потом оттягивал кожу, нажимал пальцем, мял живот, запуская руку, как в тесто. Стучал и выслушивал сзади. Нажимал и у кисти, и у висков, разглядывал глаза. А Данила Степаныч сидел покорно и тоскливо-растерянно.

– Хорошо-с! Это мы пока оставим... – говорил доктор, встряхивая пузырек и для чего-то разглядывая на свет. – А порошочки поглатывайте... .

– А пилюли вот?

– Пилюли? Оставим-ка их до зимы! А воды жарьте...

– И что такое у меня... – жаловался Данила Степаныч, радуясь, что доктор говорит про зиму. – И сон хороший, и... А вот в голову отдает... и звон...

– А как вы думаете, молоды мы с вами? Ну, и попито, и... Йодистого вот пропишу вам... Еще поживем...

Потом шел с Сережей купаться, лазил по обрывам, гоготал там, вызывая эхо, за обедом опять выпивал с Николаем Данилычем и вечером уезжал с ним, увозя корзиночку земляники и раков.

А этого было в изобилии у Ключевой и заготовлялось Данилой Степанычем к воскресеньям. Узнали, что охоч старик покупать у ребят, стали носить – кто что. К утру собирались на луговине и ждали под рябинами: вот выйдет сейчас Данила Степаныч с холщовым мешочком, где у него медяки – банный сбор. Сперва приносили ландыши и душистую любку – пуками. По полянкам, в березняке, по всем луговинам много было ее, сплошь иногда попадались полянки в тоненьких восковых свечечках. И оставалось еще у Данилы Степаныча в памяти – когда привозил он сюда жида-компаньона, накупили они этой л любки целые вороха, поставили на ночь в ведра, чтобы везти в Москву, а наутро угорели от запаху. Приносили ребята первые, радостные, пучочки земляники, потом стали носить на блюдечках, таскать кувшинами: много было ее по вырубкам. Приносили рыбы, сколько кто мог наловить руками в норах, приносили раков. Раков не

ел Данила Степаныч, а внуки и Николай Данилыч любили. Для них он скупал раков – копейка за рака, – наказывал собирать в крапиву и на погреб. В июле повалили с черникой и гонобобелем. Показывая вздутые животы с завернутыми пупками, самая мелкота несла в подолах рубаш зеленый горох: матери подсылали. И многих знал теперь Данила Степаныч – новую Ключевую.

Праздничными были для него воскресенья, когда приезжала «гусынюшка» с Пашей и Любой, Так называл он невестку Ольгу Ивановну. Взял ее Николай Данилыч из московской семьи богатого булочника, и она принесла за собой пятьдесят тысяч. В молодости была тонка, как тростинка, с голубыми задумчивыми глазами, а теперь раздобрела и лечилась от полноты. Начала рожать каждый год, родила троих, а потом заполнела и перестала. Все вышли хорошей породы, освеженной деревенской крови, рослые, светловолосые, широкие, с крепким румянцем и ласковыми глазами. У всех были хорошие груди, и когда смеялись Паша и Люба, в груди у них звенело, как хрустали. Все были очень похожи, только у Паши нос был в Лаврухиных, покойный и добрый, а у Любы с горбинкой – в булочников.

Только редко приезжала «гусынюшка» – кружило ее на автомобиле, а ехать со станции двадцать верст лошадыми – трясет. Зато когда приезжали, был праздник. Тогда Паша и Люба брали Данилу Степаныча под руки и водили по садику, показывались с ним на деревне, как два ангельчика – так и называл их, – щекотали пушистыми волосами щеки и так хорошо говорили – дедуся: осталось это у них с детства. И шло на него от них тихими радостями недавнего и настоящего. И жаловался, что не торопятся выйти замуж. Все спрашивал любимицу Пашу:

– Что, гренадерша, все не плачет подушка-то, а?

– Не плачет еще... – смеялась Паша и баловливо таращила на него глаза.

– От вас дождешься!

И грустно провожал их с корзинами, кузовками и букетами. Стоял и смотрел в темный конец деревни, к ельнику, а Санечка осторожно трогала за рукав и говорила:

– Дедушка, вам вредно... роса...

IX

Ездил Данила Степаныч к обедне – иногда в монастырь, иногда в скит, поближе. Приходило на мысль – а не уйти ли в скит? А потом раздумывал: что больному-то идти: и так как в скиту живет.

Узнал как-то от Семена Мороза и удивился, что Серега Калюгин, хромой, уже давно живет в здешнем скиту, лет тридцать, как принял постриг, и теперь имя ему отец Сысой, и вышел он в схимонахи. Не верилось: Серега Калюгин – схимонах! Драчливей его не было во всей округе. Пробили ему голову «на стенке» с шаловскими, повредили ногу. А теперь схимонах! И не только схимонах, а принял великое послушание и теперь второй год молчит. А какой ругатель-то был отчаянный!

Нарочно поехал в скит, попросил показать ему Сысю. Увидел сухонького, хроменького старичка в схиме – колпаком. Сидел у него в келейке, спрашивал:

– Как же это ты так... дошел?

Молчал отец Сысой, смотрел ласково и покойно из-под колпака с крестом и костями, жевал серыми губами. Чуть только и мог разобрать Данила Степаныч по широким вывернутым ноздрям – остались они, – что это действительно Серега Калюгин: смотрели они парой темных дырок на восковом носу в тронутых тленом щеках. Только и говорил отец Сысой, кланяясь:

– Молчу, сынок... молчу...

И по глазам его видел Данила Степаныч, что признал он его, – сказал о себе, что Данила Лаврухин, – а говорить не может. Только расширились глаза, а потом укрылись под колпаком, а худые, как восковые, пальцы забегали по четкам. Благословился и поцеловал руку, холодную, как ледышка. И в келейке у Сысю было сыро и холодно, а за двойными мутными рамами стоял теплый июнь, и распустился под окном куст жасмина.

Спросил сокрушенно:

– Не надо ль тебе чего, отец Сысой?

– Молчу, сынок... молчу...

Так и не доискался у него, как он «дошел» и хорошо ли ему. И когда выходил, нагибаясь, чтобы не убиться о притолоку, услышал:

– Милостыньку твори.

Обернулся, а отец Сысой стоял перед уголком, молился.

Ехал Данила Степаныч на своем тяжелом и тихом коне, в покойной пролетке, и думал о Сысое... Думал, что вот готовится человек, важное у него есть, свое, за жизнью. К этому-то важному и готовится. И стало ему грустно и тревожно. А он-то что же не готовится? Тот уж давно готовится, тридцать лет...

– Господи, Господи!...

– Чего изволите-с? – спросил, оборачиваясь к нему, Степан.

Поглядел Данила Степаныч на его дурковатое лицо и махнул рукой.

Березовой рощей шла дорога. Широкие кусты орешника протягивали над головой ярко-зеленые в солнце зонты с темнеющими гроздочками новых орехов, шуркали по Степанову картузу, брызгали не скатившимся с утра дождем. В глухой стороне, влево, куковала кукушка, чистым, точно омытым в дожде, голоском. Послушал, и стало еще тоскливей. И пока ехали березовой рощей, без устали куковала кукушка.

Спустились на луговину, к речке. Здесь она выбегала из-под ключевских обрывов и текла на свободе петлями и заворотками, вся извертелась, как вольная девчонка. Трава была здесь высокая и густая, и всегда много было здесь по мелким кусточкам крупных голубых колокольчиков, а в осочке прятались незабудки. Солнечно было здесь, парило с сырого лужка, и носились стрекозы. Знакомое место. А как разрослись ольхи! А раньше было совсем голое место.

Возле дороги, под ольхой, осыпанной, как охрой, желтыми крупками плесени, сидел старик, лежали на холщовой суме корочки, и стояла в травке ржавая кружка с водой. Старик макал в нее хлеб. Данила Степаныч тронул Степана палкой.

– Погоди-ка... Отколе, дедушка?

Старик приложил ладонь с зажатой в пальцах поблескивающей корочкой, всматривался против солнца. Увидел большого коня, богатую пролетку и важного старика в белом картузе. Заклаивался.

– Тебя спрашивают! – окликнул Степан. – Откудова ты?

– Корми-лец... батюшка... спаси Христос...

Данила Степаныч достал большой кошелек, вынул пятак.

– Принимай милостыню! – опять закричал Степан. – Дозвольте, я кину...

– Не найдет... Прими, дедушка.

Старик понял. Потянулся за вырезанной винтом по коре палочкой, перевалился на четвереньки и показал две дерюжные заплаты на синих пестрядинных штанах и сухонькие, в онучах, ноги; стал на одно колено, покачался, отыскивая палочкой упора, и с трудом поднялся. Шел, покачиваясь, к пролетке, открыв темный рот, заранее вытягивая руку, – торопился.

– Да откудава ты... слабый-то такой, а ходишь... Дома тебе сидеть надо.

– Кормилец-батюшка... спаси Христос... – сипел старик пустым ртом, принимая пятак в пригоршню.

– Не слышит, а деньгу любит, – сказал Степан. – Спрашивают тебя, ты откедова? – крикнул он к самому уху, нагибаясь с козел.

– А-а... А с Мань-кова...

– А чей с Манькова-то? – спрашивал Данила Степаныч и кричал на ухо Степан.

Старик поглядел на Данилу Степаныча, на коня, на свою палочку и повторил:

– С Мань-кова...

– Ступай! – сказал Данила Степаныч работнику.

– Вовсе он ослупел! – сказал, оборачиваясь, Степан. – А вот тоже они, такие... ходят-ходят, а потом большие капиталы после их находят...

«В чем душа, – думал Данила Степаныч. – Как-нибудь так и помрет на дороге... Привалится под кустик и отойдет».

И вспомнилось, сколько их ходит к Арише, а она каждому выносит ломоть хлеба. А в городе и просить не позволяют.

«Нехорошо. Для таких должны быть богадельни, чтобы хоть умирать было где. В каждой деревне бы такие дома, что ли бы, надо...»

Вспомнил, что сказал ему на прощанье Сысой, и подивился: сказал ему милостыню творить, а этот и тут как тут. Как знамение указал. И стал думать, что жить ему немного остается, недолго потянет и Ариша. А его дом останется. Пусть такие живут, – сын жить

все равно не будет уж – не крестьянин, а потомственный почетный гражданин.

Ехал и смотрел, как тихо и сумрачно в еловом леске. И птиц не слышно. Пахло смолой и сухой иголкой, красно было под елками от нее, мягко и глухо. Темно в глубине. Позади, в скиту, звонили в небольшой колокол к трапезе.

«...А в Москве-то теперь жарища, пыль, стук...»

И радостно вздохнул: отбегался он, отстроился.

И стал день за днем раскрывать свой большой кошелек и раздавать пятаки. Наказал Николаю Данилычу возить медь в мешочке, банную мелочь. И дивился: сколько их, останавливающихся под окошками! И раньше зааживали в Ключевую проходом и получали хлеба, а теперь стали чаще и больше ходить. Приходили старухи в выгоревших платочках на трясущихся головах, без лица – так, коричневые, сморщенные пятна. Приходили старики такие, что ветром качало, приходили ребятишки. Пестрые лохмотья, рваные бурые кафтаны, заплаты, от которых пахло задохнувшейся беднотой. Шли с округи, шли из далеких мест. Приходили погоревшие, совали в окошки истрепанные бумажки. Гуськом тянулись слепцы – Бог их знает, слепые ли, так ли, непристроившийся, загулявший народ. Стояли прямые, смотрели в темную пустоту деревянными лицами. Сколько всяких! Ползла на Данилу Степаныча рваная сила их, узнавая, что дают деньгами без отказа. Приходил, вроде как дурачок, Ленька Червивый, раскладывался на лужайке, у погреба, доставал бутылочку с бурой мазью и начинал растирать покрытую язвами ногу. Содрогнулся даже Данила Степаныч, когда узнал, что томленными червями растирает Алешка ногу, потому и звали его – Червивый. Часто видал его Данила Степаныч у монастыря: сидел Алешка у главных ворот на травке и показывал свою ногу. Говорили, что ушел он из дому из-за тяжелого духу, жил по сараям и добывал ногой пропитание. Всех приючала Арина, давала хлеба, протягивала из окошка ломоть и никогда не смотрела, кто там, слушая два голоса – тот, что шел с воли, и другой, что говорил в ней: дай, не смотри.

Приходили силачи парни в драных картузах, с буйными лицами, с налитыми глазами, пропойные, с пустыми корзинами и взглядами исподлобья, гудели:

– Баушка Арина, подай хлебца проходящему! И к ним протягивалась рука ее.

И вот наступило десятое число июля, и справляли именины Данилы Степаныча.

Приехал Николай Данилыч с семьей, привез пироги, всяких закусок, вин, фруктов. Приехали еще накануне кухарка-повариха и горничная Маша – помогать: справляли заодно и именины Ольги Ивановны. Были московские гости: семья булочников, шесть человек – старые и молодые, доктор Цветков с сестрой и банный арендатор Коровин, мужчина большого веса, краснолицый, коротко стриженный, с бычьей шеей и узким лбом. Как только сошел с извозчика, тут же, у садика, и поднес Даниле Степанычу пирог в расписной картонке и сказал хмуро:

– Вот куда вы заехали, а мы вас везде сыщем. И потому позвольте вас поздравить со днем вашего ангела и пожелать, чтобы...

Приехал с колокольцами, парой, в рессорном тарантасе, богач крестник из Шалова, Василий Левоныч Здобнов, маленький, рябой и шустрый, с Марьей Кондратьевной в лиловом платье и белой шали с бахромками. Они тоже привезли пирог в засиженной мухами картонке, по особому заказу из городской булочной Воронина, залитый красным с сахарными словами: «В день ангела». Как вошли, стали говорить, что всё собирались, а вот теперь собрались, и хоть Николай бы Данилыч – уж и не ждем кресинького – с барышнями да сыном поглядели, как они теперь живут и как у них в Шалове хорошо – как имение. Сейчас же стали показывать новых лошадей из тройки от предводительши, а когда спрашивали о цене, Василий Левоныч шурился и прищелкивал языком. На Марье Кондратьевне были часы с длинной золотой цепочкой по животу и тяжелой передвижкой, за которую все цеплялись бахромки шали; она очень шумела платьем, а когда садилась, все подбиралась и смахивала со стульев.

Приехал на дрожках, на рыжей костлявой лошади, становой, худой, высокий и черный, как в саже, в белом кителе, с провалом между лопаток и узкой длинной спиной, по которой ерзала портупея, пощелкал перед барышнями каблуками, сказал, что на одну минутку, и остался обедать.

Утром приезжал поздравить, по поручению настоятеля, отец казначей и поднес рублевую просфору – благодарил за позолоту иконостаса. К самому обеду потрафил горбачевский батюшка с сыном-семинаристом, который остался было сидеть на тарантасе – за лошадью присмотреть, но его силой заставили войти в сад и завертели барышни.

Приехала на телегах и приходила поздравить дальняя родня из Черных Прудов, из Шалова, из Горбачева, из Манькова – чьи-то свояки, сваты, кумы, кумовья, крестники и внучатные племянники. Гости обедали в садике, на длинных столах, под развешанными для вечера бумажными фонарями, а этих кормила Арина назад, у сарайчика, где пасека. И все были очень довольны. Ели лапшу, студень, баранину и пирог с изюмом. Вдоволь обносили водкой. Корзины с пивом и медом, для баб, стояли высокой грудой у сарайчика в холодке, позванивали. К концу обеда родня стала шуметь и ходила опять поздравлять Данилу Степаныча, благодарила за угощение. А потом стали поговаривать, что погордели Лаврухины: стали гнушаться, на задворках принимают родню. На них кричали и заливали водкой. Были и не родные, пристраивались за столом, – всех принимала Арина:

– Откушайте на здоровье!

Совсем захлопоталась она, хоть и помогали Софьюшка и беременная Дудариха; присаживалась на крылечке, радовалась в тишине, как хорошо всё, все довольны и благодарят, а тут прибежала Санечка и говорила, что зовут гости, будут пить за ее здоровье, и дедушка кличет. И она подымалась и, радостная, спешила, путаясь в раздувающейся черной, с белыми колечками, юбке.

Отобедали на задах, и уже заиграли гармоньи. Илюшка и Гриша, внучатные племянники Арины, гармонисты из посада, в синих шерстяных рубахах с белой прошвой, в лаковых сапогах, начинали задорить на трехрядках. Троюродный брат Николая Данилыча, шаловский староста, с красной широкой бородой, все лез в сад к батюшке-братцу, а его удерживали бабы и говорили, чтобы не безобразил.

– Желаю исделать... долг уважения!

И Николай Данилыч чокался с ним через заборчик.

Барышни Лаврухины бегали в сенцы, смотрели на родню через оконца и видели баб в красных и желтых платочках, мужиков в красных и белых рубахах и в пиджаках, синих щеголей с черными усиками – гармонистов. Дяденька из Шалова сидел на травке, мотался в обнимку с мужиком в желтой рубаше, махал рукой на тащившую его бабу и тянул песню. За столом, на котором кипели два самовара и стояли бутылки пива и наливки, сидели рассолоделые с жары и угощенья бабы со сбившимися на шею платками и визжали:

...Ищуть де-энь да ищуть два-а, Ищуть, может, полтора-а...

Вертелась с платочком баба, с выставившимся за губу зубом и еще красивым, тонким, теперь задеревеневшим лицом, и визжала под голоса:

Полиняй, бурдовый фартук, я малиновый куплю!

Илюшка сидел на табуретке в траве, выставив лаковый сапог и уставясь на что-то перед собой, и частил на трехрядке, встряхивая плечом, туго обтянутым широким ремнем гармоньи.

К вечеру пришел со стада Хандра-Мандра, скоро напился и играл на жалейке веселое. А когда стал плясать, вышли все гости смотреть, что разделяет Хандра. А у него разошлись все спленки и хрящички, выламывался в травке, загребал с земли рваной шапкой, путался и хрипел, притопывая:

Конь копытом землю бье-оть, бел камушек вышибает...

Как стемнело, гармонистов пригласили в садик, поставили перед ними бутылку рябиновки, и они весь вечер очень складно играли польки и вальсы, а молодежь, хоть и тесно было, начала танцы. А на задворках кричала перепившаяся родня. Да и в саду было хорошо. Хорошо выпили и тесь-булочник, и Коровин, и батюшка из Горбачева: подпоили его Сережа с доктором. Хоть и не молодой уже был батюшка, а совсем разошелся, говорил барышням любезные слова

и пел тенорком хорошую песню, которую теперь забыли: «Пче-олка злата-ая, что-о ты жужжишь?» Сын останавливал, шептал на ухо, а батюшка ругал его лошадиной головой и кричал, что вышел из орбит. Весело было всем, так весело, что даже Данила Степаныч выпил со сватом-булочником две рюмки наливки. А булочник, тоже немолодой, все храбрился, не слушался Ольги Ивановны и повторял:

– Вот оно, деревенское-то удовольствие! Ну тебя к Богу!

Санечка и Миша следили за фонариками – не горят ли, старались услужить становому – он им очень понравился – и просили у Ольги Ивановны позволения взять пирожка или персик. Проходившие мимо них гости гладили их по головке и спрашивали, в каком они классе. Это не нравилось. Убегали на лужайку, где у погреба дожидался автомобиль, и просили разок погудеть.

Попов неотлучно был возле машины. Обедал он отдельно, на травке, за маленьким столиком, накрытым голубой, с желтенькими разводами, салфеткой, ел хозяйское и пил только пиво. Пообедав, ходил с папироской и имел вид, что в любую минуту готов ехать. Гонял належавших ребят:

– Пшли! лопнет!

Поглядывал к задворкам и видел Софью в розовой баске, чернобровенькую, непокойную. Смотрел, как она бежит с тарелками, показывает молодое тело, широкие бока в черной юбке, подаренной ей барышнями, подтянутые баской груди. Встречался взглядом и говорил, а Софья отворачивалась. Подманивал Ванюшку и позволял нажать шар гудка.

Еще в прежние приезды заговаривал с ней. Узнал и пожалел, что муж ее, слесарь, пропал в Москве вот уже шестой год. Рассказал о себе, что дело его механическое, а он сам механик: это гораздо выше слесаря. И теперь, выпив полдюжины пива, все пытался заговорить и смотрел жадно на загорелую шею и крепкую розовую спину Софьюшки.

Попросил тряпку протереть карбуратор – так и назвал, – а когда она принесла, чуть задержал ее руку и сказал намекаяюще:

– Прокатил бы я вас с высшей скоростью по шоссе! А потом, когда она давала ему керосину в масленку, сказал игриво:

– Скучаете небось без мужчины? Она сказала сердито:

– Не видала добра!

А горничная Маша подошла и назвала бесстыжим.

Не знал Попов, что еще в первый приезд приглядел Софьюшку Сережа и скоро сошелся. Когда уезжал на мотоциклетке по воскресеньям, бежала она, крадучись, задами деревни к большому омуту, босая, перебегала лавы и пропадала в ельнике, где ее поджидал Сережа. Там она хоронилась и любила с ним короткий час, на скользких иглах, в жаркой духоте, оставшейся ото дня. Сытый и молодой, довольный ее горячей, долго томившейся страстью, наскоро целовал он ее в горячие щеки, иногда давал денег и уезжал, а она долго еще стояла на темной дорожке, следила за огоньком фонаря, прислушивалась, как все глуше и глуше потрескивает убегающая машинка, вздыхала от духоты и тоски, перебегала неслышно лавы над омутом и опять бежала в росе к тихой деревне.

Радостен был весь этот день Данила Степаныч, радостен и растроган. Утром еще, когда при нем развязывал Николай Данилыч подарок на именины – обитое мягкой кожей, все на пружинах и волосе, глубокое, прямо воздушное, кресло, Данила Степаныч заморгал и сквозь наплывающую сетку смотрел на сына, на кресло, на сад, залитый солнцем, на свои подсолнухи, начинавшие высовывать желтые язычки из усатых головок.

– Вот сядьте, попробуйте, как вам... Ну, как? – спрашивал Николай Данилыч.

– Как в пух прямо... Вот спасибо тебе... сынок мой... Сидел и плакал от радости, что любят его, что... Так был полон тихой радостью, что и не высказал бы, отчего плачет.

И весь день и вечер радовался всему.

К ночи стала отъезжать окружная родня – не оставляли гостить. Бабы увозили несговорчивых. Уезжали довольные, благодарили. Все лезли в садик, приставали целоваться, тянулись пушистыми бородами и мокрыми усами, выговаривали:

– Спасибо на угощенье, батюшка-братец... Миколай Данилыч... Дай Бог веку Даниле Степанычу, папашеньке... только и пожить нам... Накормили-напоили... не погнушались...

Запоздно стали разъезжаться гости, к третьим петухам. Горбачевского батюшку чуть не силой увез семинарист, на руках поднял на тарантас, а все смотрели, как батюшка упирался ногами и наступал на рясу. Ранней зарей, еще только начали золотиться верха

Медвежьего врага, уехал Николай Данилыч с женой и дочерьми на автомобиле – надо было ему быть утром в кредитном, по залому дома. Остальные поехали на ямских тройках к утреннему поезду, к семи часам. Осталась у двора одна телега, и в ней спал рыжий шаловский староста, мертвецки пьяный. Гармонисты пошли на посад, и долго в Ключевой было слышно по заре, как хорошо играли две гармоньи в лесу за речкой.

Поднявшийся день был такой жаркий, что стало драть краску на новом доме и каплями выступала смола. Арина повешала в комнатах мокрых простынь, чтобы было легче дышать: так советовал доктор. Данила Степаныч ночью спал плохо, только к утру уснул, и уснул так крепко, что проспал обедню. А еще с вечера думал поехать в монастырь, вынуть просфору во здравие Ольги Ивановны. Уже к двенадцати было, когда сошел в садик под белым зонтом, который держал над ним, вытягиваясь, Миша. Спросил про Санечку и узнал, что она катается от зубов – всю ночь не спала. Увидал, что с жары что-то померкли подсолнухи, и приказал Степану полить. Велел вынести новое кресло и поставить в тень, под рябину. Вся завешана была пучками старая рябина, обвисала. Вспархивали в ней хоронившиеся от зноя воробьи и молодые скворцы – первые выводки, пущенные в стаи воробьят под присмотр старых. Сидел Данила Степаныч в мягком кресле, как в теплой ванне, смотрел блаженно на серебряный шар на клумбе и видел там маленькую рябину в пучках и маленького старичка с белой бородкой. Видел за шаром – зеленое все, тихое. Подремывалось... Изредка мычал где-то тут теленок. Миша постоял, посмотрел, дремлет Данила Степаныч, пошел клеить змей.

Стоял перед Данилой Степанычем работник и спрашивал:

– Данила Степаныч, в монастырь-то поедете?

– Поеду... – сказал Данила Степаныч.

И тут увидал, как много везде крупной рябины. И подумал: «Хорошая какая... Теперь уж и сладкая. Сказать Аринушке, чтобы снимала... ребята обломают, птица оклюет...»

Услыхал тонкий писк колеса водовозки и открыл глаза. И увидал за палисадником, что едет Степан на водовозке, с речки, и удивился: только сейчас был здесь Степан, спрашивал. И понял, что, значит, в дремоте это было, что одиннадцать било, когда вышел он в сад, и, конечно, теперь незачем было ехать в монастырь.

– Данила Степаныч... – услышал он знакомый, несмелый оклик. – Не прикажете ли ножки вам потереть?

Это была Софьюшка, галочка. Всякий день растирала она ему ноги мазью, от ломоты. И вчера не было ломоты, и сегодня не было. Он сказал ей:

– Спасибо... не надо. Вот помоги-ка мне встать... Она привыкла обращаться с ним, когда нападала на него слабость; наклонилась, а он обнял ее за шею правой рукой, а левой оперся на палку. Тогда она мягко выпрямилась, захватила его за спину левой рукой. Он поднялся и не отпускал ее.

– Вот... уж и силы нет...

Стоял, переводя дух, и видел перед собой все зеленое: зеленый был шар, теперь угасший, и зеленый был песок на дорожке, и дом был зеленый с радужными отливами по краям.

– Что такое... все зеленое... – сказал он тихо, тяжело наваливаясь на Софьюшку, а она заглянула ему в лицо – и заробела: серое было у него лицо и синеваты губы.

– Что-то... Глаза потри... глаза... – шепотом сказал он. – Зеленое...

Сгибаясь от навалившейся тяжести тела Данилы Степаныча и робея, она осторожно стала гладить жесткими пальцами по его глазам, как часто гладила заплаканные глаза своего Ванюшки.

– Зеленое все... – тихо повторял он и вдруг увидал расходящиеся радужные круги и засветившийся шар. Проходило зеленое. И опять увидал он свой голубой дом, и веселый желтый песок дорожки, и красный платок на Софьюшке, и черные бровки.

– Ну, вот... прошло теперь... а я испугался... слепну, думал...

И когда она успокаивала его: «И что вы, Данил Степаныч... родной вы наш», – он сказал, легко забирая воздух и все еще не снимая руки:

– Спасибо тебе, ходишь за стариком... А помру я... Николая устроит...

И она вспомнила, как обещал Сергей Николаевич взять ее в горничные в Москву.

А он радовался, что еще не слепнет, что различает даже белого голубка на гребешке крыши, даже зеленую чашу Медвежьего врага, что легко дышится, и говорил:

– Замуж бы выходила... лучше...

Мягко посмотрел на нее, а она посмотрела к забору и сказала:

– Кто ж с ребенком-то возьмет... а на семью неохота. А внутри было радостное, что живет с хозяйским сыном-красавцем. Греха нет – и он свободный, и она. Мало ль живут!...

Тихо повела Данилу Степаныча на террасу, помогла сесть в плетеное кресло, подложила под ноги подушку, накапала капель от слабости, как всегда, и, все думая про свое, побежала проворно, топоча босыми ногами по прохладному новому полу, на заднее крылечко. Увидала, что Ванюшка тащит из бочки затычку и шлепает в лужице под бочкой, звонко крикнула:

– Шши ты, постреленок! – Сбежала и схватила под мышки. – Шваркну вот головешкой!

Чмокнула в затылок, пахнувший конопляным маслом, и, что-то вдруг вспомнив, пошла в огород и принялась шарить в огурцах. Забыли про них за праздником, а они еще дня три тому показали местами крупные завязи. Нашаривала, отворачивая плети, и находила. Уже начинали яснеть кончики и растекаться пупырья. Нарвала в подол с десяток, сунула плядевшему из-за плетня Ванюшке огрызанную половинку, подергала за ухо – перва-первинка, нова-новинка, – погрозила и, похрустывая сладкий и теплый огурец, вбежала на террасу и высыпала на стол катышком перед Данилой Степанычем.

– Вот и огурчики вам... да славные-то какие, да ядровитые...

А Данила Степаныч опять дремал в кресле, опять что-то видел – перебила она его дрему. Увидал свежие огурцы, полюбовался, взял один и понюхал. Пахло свежестью, и уже по запаху слышалось, какой он сладкий и крепкий.

– А-а, какие... вот ботвиньицы-то хорошо... Там Николая белорыбицы мне привез, скажи Арише... кисленького...

Остался один сидеть. Звенела под потолком оса. Шумели по стеклам террасы мухи. Много было их: липучки на стене были черны. Нападала в их жарком жужжанье дремота. И слышалось неподалечку знакомое:

– Кормильцы-батюшки... подайте святую милостинку Христа ради...

«Сколько их все ходит, – думал в дремоте, – и по такой жаре ходят...»

Увидал старичка из Манькова с палочкой, у кустика, много кусков хлеба, и в них рылся палочкой старичок, как будто копал землю. И

опять увидел Степана, спрашивающего:

– Данила Степаныч, в монастырь-то поедете? Точно толкнуло от этих слов, испугало. Силой страха открыло глаза, открыло на один миг, и увидел Данила Степаныч в этот один миг, в страшной ясности, что кланяется ему зеленая стена за садом – Медвежий враг, кланяются рябина, топольки, и забор, и перила террасы, и дорожка, и край избы, и стена дома, и он кланяется, и все ходит и кружится, и все – живое. И он поклонился им и хотел крикнуть, сказать: «Арина!» И забыл, как это сделать, как говорить. Увидел в темноте, что плывет на него большое пятно, зеленое с красным. Наплыло, лягнуло гулко в темя и задушило.

XII

Арина нашла его на полу. Он лежал на правом боку в солнечных пятнах стеклянной стенки, и было похоже, будто он высматривает что-то под столом. Ползали по его плечу и бороде мухи, ползали и по полу, взлетали и стучали по стеклам. И все еще звенела у потолка оса.

Упало у Арины сердце и застыли ноги. Крикнула Софью, а сама, белая, опустилась на колени, подняла горячую еще голову, как у спящего, и увидела широко открытые помутившиеся глаза.

– Данилушка... братец...

И застыла.

Знала Арина, что скоро помереть должен Данила Степаныч: неделю назад видела она сон и не сказывала никому. Видела Данилу Степаныча во всем новом и совсем другого. Уже потом рассказала всем; только и сказала: во всем новом и совсем другого. Потом припоминала с Софьюшкой, что последние дни любил прибираться в комодике у себя Данила Степаныч – готовился в дорогу. Потом вспомнили, как подошла как-то под окошко старуха, просила милостыньку, а когда подала Арина в окно, никто не принял. Смерть-то и приходила. И потом, спал последние дни Данила Степаныч нехорошо: отпыхивал. Были и еще знаки, и таила про себя Арина, что и сама скоро умрет.

Не выла Арина, не причитала – чего причитать! Приняла великую потерю молча, плакала тихими старушечьими слезами, последними, мелкими, как бисерок, и эти слезы не скатывались, а липли и размазывались по морщинам, и мокрый был от них замшелый и заострившийся подбородок. С выкриками причитала Софьюшка, только-только совсем живого видевшая Данилу Степаныча, как он поразился на первые огурцы. Огурец так и остался лежать на столе. И Ванюшка, глядя на мать, ревел, растянув белозубый рот, передыхал и опять ревел.

Прибежали соседи. Стоял в валенках и в полушубке на худых плечах Семен Морозов и говорил едва слышно:

– Глаза-то закрыть надо... закрыть глаза-то...

Набежали бабы, заняли весь палисадник, трещал от ребят забор.

Надо было распорядиться. Степан выгнал баб, чтобы не мешали, переложил с Софьюшкой на простыню Данилу Степаныча и перенес в комнаты на сено. Так распорядилась закаменевшая в своем горе Арина. Здесь принялись обмывать двое, Арина и Дударихина мать, а Степан сел на брюхатенькую лошадку и потрусил в город – сказать по телефону в Москву. Обмыли с молитвой, и Дударихина мать спросила у Арины, можно ли взять обмылки. Арина отдала ей белье: так всегда делалось. Потом принесли с террасы дубовый раскладной стол, настлали свежего сена, накрыли простыней, обрядили покойного в чистое белье, одели в новый халат, шитый на Пасху и всего раз надеванный – серый с голубой оторочкой, расчесали затвердевшую бороду. Бабы увидели, что все еще выглядывают глаза из-под век, пошептались: выглядывает еще кого по себе. Арина нашла два старых пятака – лежали у ней в мешочке в укладке вместе со смертной рубахой и темным платьем, сшитыми загодя. Не первые глаза накрывались этими пятаками. Положила Даниле Степанычу на глаза, и лежал он покойно и важно, с разгладившимся широким лбом, руки – одна на другой восковыми ладонями, с парюю больших медяков на глазах, как в темных очках.

Смотрели на него из уголка заплаканными глазами Миша и Санечка с раздутой щекой, думали. А Софьюшка все рассказывала приходившим бабам, как принесла она Даниле Степанычу огурчиков с огорода и как он радовался, как велел сделать ботвиньицы и как все советовал ей выходить замуж.

А когда вернулся Степан из города, Арина велела запрячь телегу и поехала за пять верст в женскую пустынь, взять монашек – читать.

И когда ехала она из пустыни с молоденькой послушницей и знакомой старушкой-монахиней в черном шлычке, захватил их дождик в лесу, слабая дальняя гроза. Стороной прошла туча, в стороне погромыхивало, а здесь только крапило и не закрывало солнце. Был шестой час, солнце чуть косилось, и солнечный дождик весело крапал по листьям орешника.

– Праведник помер, царство небесное... – сказала на дождик послушница, засматриваясь в тихий зеленый свет рощи. – Какой дождичок-то!

– Дай-то Господи! – вздохнула и покрестилась Арина. – Уж так-то тихо преставился... Дай-то Господи!

– А сподобил Господь приобщиться-то? – спросила старушка-монахиня, наклоняясь за Степаном перед низко опустившейся лапистой веткой орешины и умывая дождем усыхающее лицо.

– Петровками-то говел, как же... – сказала Арина. – Какие уж у него грехи! Переболел все...

– А вот как же сказано, что насчет того... – обернулся Степан, – что, например, очень трудно им проникнуть... которые богатые... Даже верблюд может чрез иглу пролезть... а им трудно... Это как?

– А не нам знать, а не нам знать, голубчик... – сказала старушка. – Сказано, буди милостив...

– Так-то та-ак... а вот известно, что никакой капитал не бывает от труда, а через разные причины... так что тут... очень трудно...

– Господь в своем милосердии призывает каждого... несть на лица зрения у Бога... – тоненьким голоском начала послушница, а Степан нагнулся перед набегающей веткой и крикнул:

– Держись!

Весело сыпал дождик на солнце, блестел на грядках телега, на сытой спине лошадки, нависал сверкающими каплями под дугой. Пахло грибом и елкой.

Повстречалось близ деревни стадо. Хандра-Мандра стоял у дороги, курил. Увидала его Арина, сказала:

– Скончался братец-то...

– Да, царство небесное... отжил... – хрипло сказал пастух, стаскивая шапку. – Когда хоронить-то?

Но они не слышали. А он уже все знал: повстречал его давеча Степан.

На въезде нагнали горбачевского батюшку в тарантасе. Ехал батюшка на сивой лошадке с псаломщиком, а семинарист правил, покуривая.

– На панихиду к вам, Арина Степановна! – крикнул батюшка. – Воля Господня... Дали знать-то?

– Дадено! – крикнул, объезжая, Степан.

– Свечей-то, батюшки! – крикнула Арина.

– Всего взято-с! – успокоил ее баском псаломщик. У дома стояла чья-то телега, и Степан по лошади признал бородача-старосту из Шалова. Подумал: «Чисто по телеграфу им известно». И только стали слезать с телеги, сказал:

– Монахи едут!

Обогнала батюшкин тарантас пара, с пристяжной на отлете: ехал отец казначей в высоком клобуке и двое послушников.

На крыльце вспомнила Арина, что оставила ключи в комод, и затревожилась. Сейчас же пошла и увидела, что комод заперт, а ключей нет.

– Ой, растащили...

Кликнула Софьюшку, пыталась. Сказала ей Софья прямо в глаза:

– Ой, грех какой... да что вы, что вы... все сберегла, заперла... да как же это я... да я разве...

Посмотрела Арина ей на лицо: лицо белое, губы поджаты, пальцами перебирает на груди – испугалась. Заглянула Арина в старый бумажник – лежали бумажки, а сколько было, не знала.

– Бабушка, дайте... дайте немножечко... на бедность на нашу, на Ванюшку...

Жадно смотрела Софья на истертый бумажник, перебирала на груди пальцами.

– А не мое, родная... чужое добро... – сказала Арина и заперла.

Служили панихиду сперва горбачевские, потом монастырские. Сняли с глаз пятаки, и опять усмотрели бабы, что все еще выглядывает из-под налившихся век. Видела и Арина и думала, что ее черед. Молился в уголку Захарыч и думал, что его черед. Видел глаза и Семен Морозов и думал, что его. И хоть совсем не боялся смерти, а стал говорить себе, что не из его двора: Аринин черед.

И никто не знал – чей.

Вечером приехал с семьей Николай Данилыч, все пошло гладко, и старший приказчик Иван Акимыч, выслушав приказания, сказал, как всегда:

– Будькойны-с... пымаю-сс...

Он служил тридцать лет, все понимал с первого слова, и за ним можно было быть вполне покойным.

Попов стоял наготове у машины, все три дня гонял в город и в монастырь, и каждое утро уезжал Николай Данилыч в Москву, где кипела работа по стройке и откуда нельзя было отлучаться.

Накануне последнего дня приехал с поварами и парой официантов кондитер, привез на подводах столы и ящики: ожидалось много родни и знакомых. Привезли повара свой особенный,

сладковатый поварской дух – сельдерея и осетрины, заняли кухню и двор, погреба и лужайку и принялись готовить. Разобрали печники русскую печь и наскоро выложили плиту. Стояли в тени на травке окоренки со льдом, и лежали в них огромные рыбы. Глазели ребята, как белые повара пластали на длинном столе невиданную рыбу в желтом жире, вытаскивали из длинных железных коробок, резали, заливали на блюдах и уносили на лед. Видели груды раков, вороха моркови и лимонов, пачки тоненьких красных и белых прозрачных листков, много медных кастрюль, долгих ножей и давленных жестяных коробок. Знали все, что у Семена Морозова и в соседнем дворе ставили блины в кадках, варили кисель и студень. Считали груды корзин с бутылками. Собирали со всей деревни посуду под кисели. И уже по всей округе было известно всем, что помер Данила Степаныч Лаврухин, что Николай Данилыч правит по нем поминки и будут столы для народа – для своих и чужих.

И все дни слышались через наглухо закрытые окна поющие духовные голоса, виднелись сквозь прозрачные занавески клубы кадильного дыма и желтые язычки свечей. И все носили туда лед в медных банных тазах.

И тучи мух, точно собрались они со всей Ключевой, облепляли голубые стены, кружились над поварским столом и летели в двери. И все дни был непрерывный круговой ход их с гулом.

К ночи последнего дня прошла над Ключевой гроза. До рассвета все вспыхивало, громыхало и шумело ливнем. К рассвету ушло, небо прочистило, и везде стали видны бледные звезды.

XIII

Последний день провожал Данилу Степаныча. Подымался свежий, омытый ночным дождем.

На ранней заре проснулся Хандра-Мандра, поглядел к свету: тихое вставало утро. Вышел на волю, огляделся.

Было тепло, пахло березами с гор, крапало с ветел, жвакало под ногами в траве. Не будил жалейкой вот уже третий день, обошел дворы, обстучал окна – выгоняйте коров. Прошел ко двору Лаврухиных, постоял, покрестился на окна, постучал ручкой кнута в сенцы. Поглядел на возившихся у погреба поваров, на стоявшие в траве белые блюда с желтым, с белыми кусками и красными кружочками моркови. Спросил, подмаргивая:

– Это што ж такой у вас будет... мороженое какое?...

– Творожное!

Вышла простоволосая, с строгим лицом Софья, выпустила холмогорку. Выбежала тяжелой ступью сытая холмогорка, потягивая слюну, постояла на уголке, вытянула кверху черно-белую голову, затрубила.

– До полдён, гляди, не управятся? – спросил Хандра Софью.

– А я почем знаю?...

– Никак не управятся.

И пошел, ковыляя, на край деревни, где собиралось стадо.

Уже поднялось солнце, и все заиграло промытой зеленью, и подсолнухи за забором смотрели загоревшимися шапками – теперь будут следить за солнцем. Сочно глядел сырой Медвежий враг, как глядел и тогда, давно, когда, в теплую ночь июня, в рядовой избе Степана Лаврухина родился Данила Степаныч.

Стали наезжать с округи – из Манькова, из Шалова, из Горбачева, из Скачкова, с Черных Прудов – родня и знакомые. Приехали из Москвы и пришли с фабрик ключевские мужики. Ехали на телегах, шли пеши. Против дома Лаврухиных стали рядом под ветлами телеги; лошади, привязанные за грядки, жевали надранную по дороге траву. Родные входили в дом поглядеть, сидели на ближних бревнах, на травке у палисадника; дальние и совсем чужие – подальше, у

лошадей. Бабы надели что потемней – серые и черные, в кольчиках и горошках, платочки, серые, кубовые, зеленые и черные платья. Мужики были в черных и синих поддевках, в черных до блеска картузах, степенные, строгие. Сновали мальчишки в праздничных пиджаках, в сапогах, с расчесанными головами, оглядывали себя, обтягивали кулаками карманы, мочили в росе сапоги, изгибались и оглядывали с задков. Плакали дети, просили есть.

С первым утренним поездом приехали из Москвы знакомые и родня: булочник, арендатор Коровин с большим зеленым картоном, маленькие подрядчики и поставщики. Подкатил на тарантасе, парой, с кучером-мальчишкой, Василий Левонич Здобнов, с женой в шляпе с лиловыми цветами, и прошел в дом, оставив жену выбирать с помощью кучерка. В двух тарантасах приехал из Горбачева причт с женами, с семинаристом и дьячковым сынишкой на козлах.

– Попы приехали... Сейчас выносить будут... Но еще долго не выносили.

Подходила нищая братия, текла линючим, взъерошенным потоком. Тянулись из города и с посада, из-под монастыря, с деревенской округи. Шли на помин души хоть раз покрепче наесться. Был тут и старик из Манькова, и Алешка Червивый, и Вавася косноязычный, и Мишка Зимник, и многие. Шла непокрытая и калечная родная округа, потерявшая уверенный голос и перезабывшая все песни, кроме одной: «Кормильцы-батюшки, подайте святую милостинку Христа ра-а-ди!» Те, у кого отняла судьба руки и оставила рты, вымела закрома и оборвала карманы, навалила заплат и горбов, погасила и загноила глаза. Те, кто хорошо знает все дороги, сухие и мокрые, все оконца, все руки...

– Нищих-то навалило! – говорили бабы. – Каждому по блину, так...

– У Лаврухиных и по два достанет.

Бабы завернули верхние юбки, чтобы не озелениться, сидели в теплых нижних на сырой травке и по бревнам, смотрели на дом, на подсолнухи, про которые знали, что насажал их покойный, загадывали, кто же теперь будет жить здесь и кому все достанется. Хвалили гусей и кур и загадывали: их-то куда. Говорили про холмогорку, говорили, что дом хоть и богатый, а все сиротой смотрит: повалился хозяин – и дом повалился. Прикидывали, не отписал ли

чего кому: последнее-то время вон всю родню вспомнил. Говорили, что дал Морозихе на корову сорок рублей; Дударихе – с чего бы! – цинкованного железа на крышу. Говорили про Софью: разбухла на лаврухинских-то харчах, такая-то стала гладкая да зубастая; к старику все подлащивалась, змеей перед стариком-то так и юлила. Какие платки носит! А чего же, всяко бывает. И ущипнет, так рубль даст. А чего ей – совсем вольная.

– Ишь, мурластая стала...

Видели, как бегала Софья в черном платке, белолицая, чернобровая, строгая, в тяжелой юбке, – где она ее справила? – останавливалась на крылечке и кричала звонко:

– Степа-ан! Живей закладывай в пролетку!

– Чисто как хозяйка кричит! Сыскалась родня середь дня...

– Арина-то Степановна все ей доверила, все ключи у ее... и от погребов, и от укладок, и от чулашков... Молоко-то так кувшинами и хлыщет...

– А это их старик тот... Захарыч облестил... чаю без его не мог пить вон... А снохе-то Морозовой за что корову?

– А Миколай-то Данилыч с ее девчонкой допрежде путался... Да с Глашкой-то! Он же и выдавал...

– А-а... которая за кривым-то... гробами на посадке торгуют...

– А вон Дудариха-то сказывала... Софья-то, подлюга, с эстим все... с Сергей Миколаичем путается... Как он в город, к ночи, к нему все бегала, в елки!...

Привез телегу можжевельника, верхом, сын Семена Морозова, Аким-парильщик. Пришли гуси с речки, гоготали, просили есть. Бегали среди них в хлопотах, распугивали, а гусак грозил клюнуть. Мальчишки лазили в огород, нашаривали. Поваренок ел огурец. Попов прохаживался у машины, в гороховом балахоне, поглядывал. Подошли племянники-гармонисты в новых хороших тройках, лаковых сапогах и кубовых рубахах. Расхаживали степенные крепкие мужики в черных казакинах, повязанные рушниками, – понесут. Две смены, – тяжело, жарко и далеко. Валил сизый дым из избы Семена Морозова, и пахивало блинным духом. Рыжебородый шаловский староста, повязанный полотенцем с красными городками, говорил тем, которые понесут:

– Разом подхватывай чтобы! Семен и Левон... помене ростом-то спереду, а мы с Микитой в голова ему... И прямо чтобы в шаг!

Лицо его побурело, а борода посветлела. Мужики слышали, что пахнет от него сладким духом, и просили похлопотать у Арины Степановны.

– Уж говорил, и с Иван Акимычем... чтобы и разговору не было... А на переменке горбачевские встанут... Надо постараться, чтобы... Из Москвы народу-то!...

А бабы говорили на бревнах:

– Вон внучки-то, внучки-то... Эта вот, с увальню-то, Прасковья Миколавна, беленькая-то с лица... а за ей Любовь Миколавна. Видные-то какие, со-лидные...

– А и не плачут!...

– Меньшая-то вчера плакала шибко. В церкви еще поплачут...

Приехал верхом урядник, в новых погончиках на затертом парусиновом кителе, в белых перчатках, похожий лицом на сверхсрочного молодца-фельдфебеля, с черными бачками, привязал лошадь к палисаднику, поманил мужиков в рушниках и сказал:

– Слушайте мене, что я скажу. Понесете, чтобы не галдеть... раз это упокойник, а не хоругь! Я спереду. Как я стал – стой! На кладбище сам становой будет. Чтобы не обругаться! Помните, к какому делу призваны!... Чтобы не было безобразий у мене!

Увидал у шаловского старосты полотенце с красными городами – запретил:

– Дружка, что ль, ты?! А еще староста... Смени на холстину! Никакого понятия, что недопустимо, раз это упокойник, а не что!

Прогнал ребят от забора, отворил калиточку барышням, приложил перчатку к козырьку. Увидал, что повара развели жаровню, поостерег насчет пожара:

– Вы, братцы, уж поосторожней как... сохрани Бог... Бабы говорили, что на помин будут щи с головизной, блины с маслом, гороховый и молочный кисель. Вспоминали, что, как хоронил Данила Степаныч жену, давали сыту к молочному киселю.

Стали выносить.

Вынесли Николай Данилыч, Сережа, Коровин и вытягивавшийся Здобнов, которого сменил приказчик Иван Акимыч. Когда остановились у палисадника, услышали старушечий вой: плакала

Арина. Плакала и Софья. С платками были «гусынюшка», Паша, Люба. Урядник сидел на коне, поодаль, и держал картуз «на молитву», стараясь сдерживать лошадь, которую кусали слепни. Горбачевский батюшка, в белой ризе с голубыми просветами, склонив голову, печально читал молитву. Мальчишки без картузов, оставленных матерями дома, задали, кому батька отдаст кадило, и смотрели ему в лицо. Племянники-гармонисты взялись нести тяжелую дубовую крышку. Выступили под ней вперед. К ним подъехал урядник и не велел уходить далеко.

– Красные бы рубахи еще надели!

Выследил, когда Николай Данилыч стоял с краю, подскакал и взял под козырек:

– На кладбище всякий народ желаете допустить? Вышли смотреть повара в белых колпаках, как понесли.

Стоял у палисадника Захарыч, смотрел из-под руки. Смотрел от двора Семен Морозов, не в полушубке, а в синем казакинчике, крестился.

Видно было, как ехал на возу можжевельника Аким и кидал; как, мерно шагая, подымались под желтой крышкой на взгорье, к ельнику, гармонисты. Перехватив черные спины ярко-белыми полотенцами, несли, покачивая, мужики.

И было потом все так, как хотел Данила Степаныч. Было солнечно, жарко, тихо. Когда вступили в еловый лесок, с запахом теплой сырости после дождя, одинокие голоса стали крепнуть, и казалось, что поют хорошо и стройно, как в пустой церкви. Тихие, грустные, стояли ели и слушали в полумраке. А когда пошел березняк, стало весело, зелено и прохладно. В кустах орешин темнели мохнатые гроздочки, играли светлые стрелки. Играючи, шуркало по головам ветками. Урядник ехал впереди на случай встречи, нагибался и обламывал. Пели все, и молитва сбивалась бабьими голосами на песню. И было похоже в солнечной роще, что это не последние проводы, а праздничный гомон деревенского крестного хода.

XIV

Шумели поминки, а было похоже на именины.

В два ряда поставили столы на лужку, между дворами Лаврухина и Морозова. Посажались кто как успел. Вышел Николай Данилыч, сказал:

– Вот, помяните батюшку.

– Покорнейше благодарим, Миколай Данилыч... Тебе дай Господь...

Ели щи с головизной, почмокивали. Говорили, что легко было нести: ежели праведный человек – завсегда легко. Хандра-Мандра рано собрал коров, подобрался к поминкам. Хрипел, расплескивая из стаканчика:

– А во как я помру-у... пухом понесете! Жилка одна да спленка, правильной меня нет...

Кому не хватило места – ждали череду. Ребятишки ели на травке, рвали зубами выпрошенные блины. Подходили нищие, просили в окна:

– Помянуть бы за-ради Христа... Говорила в окно Арина:

– Помяните, голубчики, помяните...

Выходила на лужок, скорбная, сухонькая, побелевшая, в черном, с белым горошком, платье и в черном длинном платке, как монахиня.

– Кушайте, родимые... помяните за упокой души... Ей гудели довольные, твердые и нетвердые голоса:

– Покорнейше благодарим, Арина Степановна... Дай Бог царство небесное!

Довольны были ею: их она была, вся ихняя, всегда ихняя. И никуда не уйдет.

Парни с буйными мурластыми лицами гудели в окна:

– Дозволь помянуть, баушка Арина!

И им позволяли, и они требовали вина и пива. Ходили по столам и выпрашивали из рук.

Не поскупился Николай Данилыч, приказал, чтобы вдоволь было всего: последние проводы. И все знали, что это последние проводы. Тетка Арина еще осталась, но она сойдет тихо, незаметно.

Уже помянули в доме, с официантами в белых перчатках, уже последнюю, прощальную, чашу вечной памяти опели и благословили отец казначей и батюшка из Горбачева; уже возгласил зычно иеродиакон Нифонт, запивоха из монастыря, расправив тесный и потный ворот и откидывая лапой пышную грудку волос, как сено, – возгласил, ворочая красными белками, до содроганья хрусталя на столе, покрыв и остановив гул за окнами, – а во дворе все еще уступали места и все подсаживались ко щам с головизной, блинам и киселям. Уже отъехали монахи и причт, сытые, сонные, рассолодевшие с еды и жары, увозя в широченных карманах слоеные пирожки и навязанное памятью на все уставное Ариной – деточкам-то, деточкам-то! – а на лужку все еще ели, все ели, опоражнивая корчаги и мисы, дрались из-за блина нищие, просили, виляя хвостами, тощие собаки. Хлопали пробки; пустые зеленые четвертухи лежали в крапиве. Проливали за упокой души. Распоясали животы, уходили и опять садились, уносили куски и мисочки тем, кто не мог дотянуться до лужайки. Уже покачивались иные и путали на ослабевших умах и языках, что это – именины или еще что. Уже потянулись тени от леска на взгорьях, от домов, от людей, от крапив. Ржали просившие пить лошади. Отъезжали гости на ямских тройках к вечерним поездкам.

Вышли в сад внучки в трауре, с белыми личиками, и поглядывали из-за палисадника. Видели рыжие и черные волосы, красные лица, засученные рукава, слышали гул. Родня... И пытливо всматривались, кто и какие ихние. Знали только, что вот эти двое, в кубовых рубахах и в лаковых сапогах, какие-то внучатные племянники; есть здесь кумы, дети чьего-то деверя, и дяденьки, и свояки. Не знали, что за свояки, почему свояки. Смотрели на Софьюшку, вываливающую грудку блинов на стол, знали, что дальняя внучка дедушки, а им, значит, какая-то сестра. И было чудно им, что она их сестра, а из этих есть какие-то далекие братья. Смеются, чавкают, разные... Они их никогда не знали и не будут знать. Дед еще знал, а теперь разойдутся совсем. И вспоминались им какие-то бабы и старушки и степенные мужики, которые подходили на кладбище и по дороге, ласково и любопытно осматривали и говорили мягко и улыбаясь, точно хотели оправдать свой приход:

– Здравствуйте, милая барышня Прасковья Миколавна... Небось и не знаете меня? Да где ж и знать-то. Хоть разок поглядеть на вас, какие такие...

И разглядывали – и лицо, и платье.

– А вы кто же?

– А я-то... А дедушка-то ваш, Данила Степаныч, царство небесное... У него-то братец двоюродный, по матушке, Иван Захарыч... так я-то буду его двоюродная племянница, по матушке-то... Она из Шалова сама-то...

Находили концы и устанавливали родство. И никто не сказал им прямо, что все они с одного поля, с этой округи, одной крови.

Поздно вечером, когда стала падать роса, отъехали последние телега, ушли нищие, разобрали столы. Теперь только собаки рылись и нюхали по крапиве, звякали; шаловский староста с Акимом Морозовым спали в огороде на огурцах, да сразу ослабевший Хандра-Мандра лежал под плетнем, накрытый рогожкой. Укладывались повара, увязывал воза кондитер – ночью ехать сподручней.

Паша и Сережа прошли по затихшей деревне к речке. Послушали. Бежала вода по камушкам, журчали неугомонные ключики – ур-ур-ур... темно смотрел незнаемый Медвежий враг, и все было здесь для Сережи и Паши безымянно и пусто, ничего не держало в себе для них.

– Кто это? это не вы, Попов? – крикнул Сережа к темневшему у речки человеку.

– Я-с... – ответил шофер. – Вот смотрю от нечего делать.

– Нравится вам здесь?

– Вообще, как природа... глушь...

– Смотрите, как эхо здесь: кто ты-ы?! И ответил овраг плухо:... кто ты-ы?!

И совсем не думали, что это их родная деревня, что воду из этой речки пил их дед, что из этой лощины вышел их род и теперь совсем затерялась и скоро совсем сотрется пройденная им здесь дорога.

Рано поднялся наутро Николай Данилыч. Он бы еще вчера уехал, если бы сегодня был будний день, – требовали дела в Москве, – но сегодня было воскресенье. К тому же нужно было и здесь распорядиться. И вот встал он в шестом часу, как всегда. Слабое еще было солнце, косое, легкое. Весь в росе был молодой сад, пахло свежестью только-только ушедшей ночи. Посмотрел на сад – красноватое сияние шло от старой рябины на солнце. Белогрудая птичка – похоже, славка – сидела близко на ветке и играла горлом. Было ясно видно, как перекатывалось в горлышке – точно дробинки. Свистела, потрескивала, как скворец, журчала по-жавороночьи, чокала по-соловьиному. И, глядя на нее, Николай Данилыч вспомнил, как отец в последний его приезд просил:

– Купи ты мне, Николая, канареечку какую...

Канареечка была куплена и ждала воскресенья. Теперь не нужна. Не нужен и этот дом, крепко построенный и ставший в четыре тысячи. Кому он здесь? Сломать и перевезти в Москву? И знал, что не ломает. Пусть стоит. Кто знает...

Думал об отце. Всё дела, всю жизнь были дела. Всю жизнь укреплял капитал; укрепил, а тут и конец. И когда смотрел Николай Данилыч на славку, думал о своих делах. И у него, должно быть, так и будут всю жизнь дела и дела. Достраивался новый дом, собственный, в пять этажей. Подходил к концу взятый подряд на выстройку гавриковского семиэтажного дома. Думал, что не заплатил-таки Коровин в срок аренду, беспокоился, доставят ли без оплаты прежних счетов цемент: остановится кладка – не поспеть к сроку, неустойка. Надо платить в сентябре в кредитное десять тысяч. Оправдает ли Волнистов векселя? И зачем впутался с тестем в муку, в новое дело! Вложил пятьдесят тысяч...

Славка вспорхнула, пересела повыше и продолжала журчать...

...С домом-то как же теперь?...

Шлепала туфлями Арина, несла хрустальную чайницу и старенькую сахарницу, в малиновых пятнышках, деревенскую, из которой, бывало, мальчишкой таскал сахар.

– Одни остались, тетушка...

Она поставила чайницу и сахарницу, присела и жевала губами.

– Потратился, Николенька... а вот, не привел Господь. С домом-то как теперь?

– Как жили, так и живите. Закрутился я с делами, а моим скучно тут.

– Деревня... – сказала Арина.

– Будете получать, как папашей заведено. Лошадей вам не надо, корову хотите – продайте...

Софьюшка внесла самовар, стукнула ножками о поднос, смахнула фартуком.

– Насчет ее... говорил папаша, устроить надо... Нужна она вам?

– А чего ж она мне нужна!

Софья остановилась за дверью и слушала.

– Как-нибудь подумаю... сродни она ему...

– А как же не сродни-то! И Захарыч вон еще у меня... Данилушка-то, покойник, позволил ему доживать...

– Пусть живет. И он сродни...

– Да как же не сродни-то! – опять сказала Арина. – Да ведь и тебе дядя двоюродный...

– Да, да... И вот хотел я сказать... Куда же это папаша столько денег рассовал! С мая было у него семьсот шестьдесят, я ему меди на пятьдесят привозил... в именины его сам я смотрел, было четыреста сорок, а вот в бумажнике полутора ста не хватает... Вы, пожалуйста, тетенька, не подумайте... а только интересно мне...

Арина вспомнила про ключи, хотела сказать и промолчала. А Софья стала тихо-тихо отходить в глубь комнаты, задержалась в задней и слушала. А Николай Данилыч уже говорил, что надо завтра же отпустить Степана и отправить в Москву пролетку и лошадей. Вынул записную книжечку, пересмотрел наказы Данилы Степаньича, – куда и кому сколько на случай его смерти. Куда монастырю столько – три тысячи! Довольно и пятисот. Ну, родным – этим можно и полностью, по пятьдесят... Двадцать два человека! Вот монастырь-то и поделится. Сто рублей Семену Морозову на похороны или, коли раньше помрет, снохе на поправку... Ну, и это можно. Арише по десять рублей на месяц, Захарычу по пять за... пчел... Софьюшке и

Ванюшке двести рублей... Степану драповое пальто и купить новые сапога, тройку и картуз...

Отвернулся к саду, сжал губы и смотрел через набежавшие слезы.

– Все, старик, исполню... все...

Выпил стакан чаю, прошел на усадьбу, обошел дом. Что с ним делать? Знал, что не будет здесь жить, что куплено уже место на кладбище женского монастыря, где женина родня, у часовни, где и брат, умерший от чахотки. Увидел кресло, записал – отправить. Переписал мебель, часы с башенным боем, зеркало. Куда им здесь? И все думал, что, если оборвется у него с домами, даст кредитное не восемьдесят тысяч, а шестьдесят, не уплатит Волнистов... И то, что приходило ему по ночам, – что может оборваться, что разбросался, что пойдет с мукой на понижение, и повалится все, как у Сняtkова... – опять тревожило. Нет, пусть стоит дом. Может, и пригодится...

Автомобиль стоял, закрытый брезентом. Из кухни вышел Попов, поздоровался и спросил, скоро ли готовить.

– Часа в два выедем...

И тут вспомнил, что обещал вчера Здобнову заехать к нему, поглядеть, как живут. Надо было поехать, потому что дал слово, потому что истратился Здобнов и ждет, а главное, намекал, что может брать у него муку – лучше у своих, чем у Карпова, – и не больше не меньше как до полсотни вагонов. Все поставки на фабрики у него. Вспомнил, как упрашивал Здобнов, сидя в тарантасе:

– Мы к вам, а вы к нам... поглядите все наше обзаведение. Не какие-нибудь, а... все как следует-с...

А Марья Кондратьевна говорила:

– Окажите уж нам такую честь, и с барышнями, и господина кавалера, молодого человека... не будьте такие гордые...

А Здобнов тронул лошадь, перегнулся через задок, крикнул:

– Сейчас в городе специальный заказ сделаю! Чур, не обманывать!

Надо было поехать: солидный человек стал. И сказал Попову:

– Вечером выедем, а к обеду свезешь в одно место. Увидал, что кланяется ему Семен Морозов, узнал старика, перешел лужок, сел на завалинку, закурил.

– Как живешь, Семен Иванов?

Хорошо его помнил. Помнил, как гонял Семен лошадей на водокачке, как стоял у котлов – подавал в бани горячую воду – и как, бывало, нашивал его Семен на руках, показывал лошадей, огромные баки с водой и цепи, подымавшие из колодца бадьи. Помнил его хоть и не совсем черным – спорила уж и тогда в его бороде зола с угольком, – а теперь был он седой до зелени и совсем другой. Но что-то было еще в его говорке знакомое, давнее. И это знакомое удержало для Николая Данилыча его прежнего и напомнило многое: как прибежал на водокачку, ел черный хлеб, макал луковкой в грязную соль в жестянке, стояли по стойлам тихие лошади, жевали сено, перелетали в стропилах сизые голуби, пахло навозом и краской.

И сказал Николай Данилыч, крикнул на ухо:

– А помнишь, Семен Иваныч, как, бывало, на водокачке... лошадей гоняли?

– Как же... помню еще, Миколай Данилыч...

Помолчали. Попов устроился за столиком, на травке, пил чай с белым хлебом. Вышла старуха сноха, жена Акима, закланялась:

– Тубареточку я вам вынесу, батюшка... запачкаетесь так-то...

Не надо было ему табуретки. Напомнила ему старуха тоже давнее, хоть и не такое, как с Семеном, а так же забытое. Лет двадцать тому, на другой год женитьбы, когда хворала жена после родов, приехал он сюда размыкаться, погулять и так, на ходу, сошелся с внучкой Семена, Глашей, совсем девчонкой. Так как-то вышло – столкнулся и пожелал. Прожил с неделю, пьяный от охватившего угара, закружил девчонку, а потом и не приезжал, прошло сразу. Слышал потом, что родила она мертвенького, потом вышла замуж за кривого мешанина из посада, гробовщика.

– Ну, а внучка у тебя была... Глаша?

– И теперь жива... ничего... живет хорошо, пристроилась.

Говорил, побряхтывая, грелся на солнышке, поеживался в широком, как мешок, полушубке. И видел по его лицу Николай Данилыч, что и об этом помнит старик. И ничего, тихий, безропотный.

– Сто рублей тебе папаша на похороны оставил.

– Да ну?! Царство небесное... Да мне куда ж... Меня за полторы красных управят... ты уж им остатнее-то выдай... Акимушке пусть...

Всплакнул. Сидел, опираясь сведенными бурыми пальцами о сухую землю завалинки. Было тихо, жарило в завалинку солнце, гудели мухи. И тут, рядом с этим усыхающим стариком, Николай Данилыч почувствовал, как он устал, как хорошо было бы забыть все дела и уехать куда-нибудь – отдохнуть. И подумал, что надо поговорить с доктором, отчего это часто в последнее время кружится голова и покалывает у сердца.

– Совсем, значит, от нас теперь... отъезжаешь? – спросил старик.

– Папашу похоронил – чего ж тут...

– Че-го тебе тут! Твое дело бо-ольшое, ходкое... кто как... кто на крылах, кто на костылях...

– Ну, твои как, внучата, сыновья?...

– Мои-то... – задумался старик, переступая валенками и разевая от слабости рот. – Ничего... Старуху когда еще схоронил... меньшей сын помер... вот где это железо плавлют... к хохлам туда...

– Что ж так?

– Да ведь... помер. Пришла бумага... холера там была... горе такое. Акимушка у тебя, при банях... Сенька, внук... на суконной. Василий, середний сын... у мушника в молодцах. Гришка, внук... так, котует... Давеча... на поминки приходил... та-ак скандалил. Размотало всех, что воробьев по застрехам... кто игде...

– Та-ак... И у тебя не бывают?

– Нонеча где деньги, там и родная сторона. Нонеча дал кто полтинник, вот и родня стал... Так, горохом... врозь...

Помолчали.

– Жить-то, стальной, не будешь здесь... Акимку-то мово не обидь. Он у мене один изо всех помнит. А вон внуков-от его куды занесло! Один на чугунке кондухтором... по всей земле-э ездит... другой в остроге сидит... за это самое... вот бунтовали когда... Убег был... опять пымали, засадили... Акимушка сказывал... письмо от его пришло... опять, говорит, убеgetь...

Было видно, как в окнах дома пробежала в белой кофточке Паша. Крикнула:

– А я по-деревенски хочу! Где у вас?

Выбежала на крыльцо босая Софьюшка, а за ней в шелковой голубой юбке и ночной кофточке Паша. Софьюшка показала ей рукомойник, черный, чугунный, с носиками. Рукомойник прыгал на

проволке, плескалась вода, и смеялась белорукая, скинувшая кофточку, Паша. Поглядывал из-за машины Попов, пил чай и косил глазом. Николай Данилыч погрозил пальцем, Паша погрозила ему. И красиво грозила, и красиво ежила плечи, и сочно смеялась, и, если бы не знал он, кто она и откуда, никогда не подумал бы, что она вся здешняя, с этих дворов, с этой округи: потому что и булочники были когда-то с этой округи, соседней волости. И когда так плескалась она, умываясь по-деревенски, а Софьюшка ухмылялась в руку, вышел Сережа, кудреватый, как баранчик, крепкий со сна, в белой рубашке с голубой грудью, на помочах, хлопнул Пашу по полному голому плечу, схватил рукомойник и выплеснул на обеих. Был смех и визг, точно и не лежал еще вчера в комнатах Данила Степаныч.

Высунулась в окно в черном платке Арина, поглядела и опять ушла.

«Славные детищи», – подумал Николай Данилыч.

– Что же, поедете к Здобнову-то вашему? – крикнул Сережа.

Николай Данилыч вспомнил, что надо поехать в монастырь, сказать обложить дерном и внести отцу казначею на сорокоуст. Приказал готовить машину.

XVI

К обеду поехали в Шалово, за десять верст, к Василию Левонычу Здобнову.

Встречали перед двором сам, Марья Кондратьевна, четыре дочери и три сына, двое работников, кучерок и кухарка. Рвались на цепях лохматые собаки, бегали перепуганные индюшки.

Осматривали новый кирпичный дом с двумя лавками в железных зеленых затворах и решетках, все службы, конюшни и птичник, заводских свиней и выпаиваемых телят. Показывал Здобнов новую тройку, купленную от предводительши и теперь продававшуюся за полцены – за тысячку.

– Только и всего-с, за тыщонку-с... Показывал телячий загон в триста голов, говорил:

– Не телятки-с, а денежки наши плачут, в Москву хотят-с...

Показывал с балкона новый трактир на въезде, подмигивал, забирая в маленький кулачок маленькую бородку, вздыхал:

– Чуточку пообстраиваемся...

Показывая по очереди семерых детей – четырех дочерей, год за годом, от пяти лет, троих сыновей: правую руку – при торговле, левую руку – все деньги потягивает, в юнкера думает, и третьего – из коммерческого училища.

– Этого по ученой части направлю, очень по наукам хорош.

Про дочерей говорил:

– Плохой товарец по нынешним временам. Мало-мало, а по красной на каждую готовить надо. Ну, ничего, маленько пообстраиваемся...

Показывал граммофон, сказал:

– Обедом я вас затомлю, но при музыке незаметно, хоть бы и десять перемен было.

И сделал Марье Кондратьевне через плечо большим пальцем:

– Посуду-то, посуду-то тревожьте!

Обед был парадный, и прислуживал прыщавый молодец из трактира, швырявший тарелками с вывертом, высовывавший язык, когда разносил блюда и наливал рюмки.

– Кушайте-с... – упрашивала Марья Кондратьевна. – Хоть у нас и не по-московскому, а все самое лучшее... все у Кошелкина брали...

Были омары, от которых пахло селедкой, была ветчина с горошком.

– Повар у меня в трактире замечательный, у непряменного члена служил. Кушайте. А муку сварим-с мы с вами, будьте покойны-с. Ежели подойдет-с, мы и в компанию. Ты что ж, тетерев, с левой-то руки подаешь?

Ели рыбу под белым соусом, гуся и баранину, телячьи язычки – одна неожиданность.

– Еще неожиданности-то!

Пили вина с яркими ярлыками, в золотой и серебряной оклейке, с французскими буквами. Пили и за упокой кресинького, и за здоровье многоуважаемых. И весь обед пел граммофон и рассказывали анекдоты.

После обеда осматривали трактир-ресторан, только что освященный.

– Номер четвертый будет-с! Теперь у меня один работает, слава тебе Господи, на посаде, второй в городе, третий в Манькове, а это последышек-с... Чутьочку пообстраиваемся...

В трактире были даже три кабинета – чиновники когда выезжают-с, – и по праздникам приходили играть Илюша и Гриша. Галдели мужики, где-то играли знакомые трехрядки, но Здобнов приказал устранить на четверть часа, ввел в кабинет и приказал откупорить шампанского.

– Нет-с, дозвоьте-с. Там неизвестно, а мы, может, заварим еще какую кашу. Дозвоьте помянуть кресинького.

Шампанское крепко шипело, сильно пахло лимонной коркой и горечью, и сейчас же у всех заболели от него головы. Потом пили чай в малинике, с ромом и коньяком, и когда выехали в Ключевую, чтобы проститься с Ариной, падали сумерки.

Автомобиль пробирался тихо по мягкой дороге в хлебах, пахло спелой соломой, полынью, дикой рябинкой и пылью. Еще журчали невидные уже жаворонки. Повстречали в хлебах телеги: катили с праздника из Степанова, нагруженные кашей голов и сапогов, с пиликающей гармоньей, – Степан Савваит ржице кланяться велит, – Попов издадека загудел гулками вскриками, накатил мягко,

зашарахались лошади в хлеба, и окатило бранью. И, не оборачиваясь, не глядя по сторонам, вел машину по извивающейся дороге.

– Должно быть, мы первые здесь... – сказала Паша и все оборачивалась: как телеги. И видела на светлом небе черные маленькие дуги.

– Попривыкнут... – сказал Попов, пугая гудками темнеющую даль хлебов.

Увидали над рощицей, близко к закату, золотенький ноготок молодого месяца. Ехали опушкой, и долго провожала автомобиль смутно нырявшая какая-то ночная птица, вскрикивала тонко и зло.

Мягко вкатили в ельник, душный и темный, зашуркали по колюшкам. Было совсем темно, но не хотелось зажигать фонари – сейчас выход на Ключевую. Уже пошла под гору дорога, уже пахнуло с просвета росистой свежестью. На Ключевой падала роса.

– Дай огня, сейчас едем, – приказал Николай Данилыч.

Попов перевел рычажок – и два долгих белых снопа вырвались из невидимых глаз машины, перекинулись через улицу и положили два мутных пятна на темную стену избы напротив, захватив в свое поле нижние ветки ветлы, высокую крапиву и на ней серую дерюжку.

Вошли в дом. Горела на столе лампочка, принесенная Софьюшкой из задней половины. Вышли Миша и Санечка, ждали.

– Пока поживите здесь, – сказала Ольга Ивановна. – Слушайте бабушку.

Санечка заплакала, а Миша смотрел в сторону и двигал ремнем. Вышла Арина. Она была уже в своем обычном сереньком ситцевом платье и в черной головке, старая-старая, истомленная тревожными днями. Не могла стоять – села.

– Ну, тетенька... попрощаемся... – сказал Николай Данилыч.

Нагнулся и поцеловал старуху в холодный рот. Она припала к его плечу и тряслась. Паша выбежала из комнаты, остановилась на крылечке, где утром умывалась по-деревенски, прижала руку к груди и поглядела в небо. Звезды играли в падающей росе. И было Паше чего-то жаль – росистого ли уголка, старенького ли рукомоиника с носиками, остающуюся ли старуху бабку, которую она совсем не знала... Потрескивала холодевшая на росе крыша, звенели кузнечики. Паша смотрела на звезды, сбивающиеся лучами, и мысленно, в самой

сокровенной глубине, сказала им: «Дедуся! Пожелай мне... пожелай мне, чтобы я... чтобы я...»

Счастья она себе хотела, светлой жизни, счастья незнаемого. Она не сказала, а крепко подумала, смотря на звезды в росе, так крепко, до слез, подумала.

– Паша! – позвал голос Ольги Ивановны.

Она провела по лицу, поморгала и вошла в комнату. Все сидели. Слышали, как тарахтела машина. Прощались. Арина крестила всех.

– Христос с тобой, деточка... Благослови вас Господи... сохрани...

– Ежели что понадобится, тетенька, прикажите написать...

– Уж такие-то вы все ласковые... такие-то хорошие... Не могла говорить. И когда уходили, вспомнила, что не простился Захарыч, и удержала. Пошла куда-то и привела Захарыча. Он был босой, в белой рубахе, распояской, – должно быть, спал. Арина кричала ему:

– Попрощайся с Николенькой-то, с родными-то... Совсем уезжают!

А Захарыч стоял и кланялся, не разбирая при огне лиц, слыша только неясный шум.

– Прощайте, дедушка! Софьюшка повторяла:

– Много довольны, покорно благодарим...

Вышли и посажались. Сережа засветил фонарик на машинке, гукнул и покотил тропкой к лавам. Вышли на шум машины из соседских дворов.

– Счастливого пути, Миколай Данилыч! Нас-то не забывайте!...

Попов загудел на заслонивших дорогу. Ответил глухо Медвежий враг. Покатили. Видели оставшиеся, как побежали наперед, указывая дорогу, два света – дальше, все дальше. Видели, как врезались они в частый ельник на въезде, завернули, заюлили и замигали, переламываясь в деревьях, точно нащупывали и искали там. Гудело и тарахтело в елках. Потом чище стало доходить по росе – тррррр... Потом стихло.

XVII

Пошли спать. Арина обошла комнаты, помолилась в каждой. Затворила окна. Оставила открытым только одно-к террасе. Тут у нее стояла чашка с водой. Еще в день кончины Данилы Степаныча выставила она ее – так всегда делали, – но ее все выплескивали, не зная, зачем здесь чашка, и пили из нее квас. А она наливала новую. Теперь не выплеснут. Потом принесла чистое полотенце и вывесила за окно, к террасе. Так всегда делали. Вывесила, покрестилась и пошла к себе в боковую комнатку. Стихло в доме. Миша и Санечка спали на кухне, у Софьюшки, – боялись одни.

В своей комнатке, жаркой от кухни, Арина долго молилась темному образу, молилась о живых и умерших, обо всех. И тихо уснула.

Тихо было на Ключевой. Слышно было, как играли струйки по камушкам. Сочились ключики из-под крутых берегов, текли и текли. Так и будут все течь, течь, сливаться с иными струйками, переливаться в иные речки, в большие реки и долгие еще пути идти, чтобы влиться в огромное неведомое море. Так все и будут бежать день и ночь, день и ночь, слышные больше ночью, когда все спит, когда слышно, как растет трава, как падает роса, как дышит земля. Если слушать в тихой ночной деревне, многое можно услышать.

На ранней зорьке прошла по росе Софьюшка, оставляя широкую темную полосу на траве. Тихо вошла в сенцы и замкнулась.

На полной заре вышел с дальнего края, от речки, от Анисьиной избы, Хандра-Мандра. Вышел, ковыляя, на середину деревни, подошел к новому дому, посмотрел на черные запотевшие окна, на белое полотенце, резкое на заре, снял шапку, покрестился на небо. Вынул из пазухи жалейку, расправил усы и стал играть. Играл хорошо и долго.

Вышла Софьюшка, выпустила корову.

Уже вышли коровы со всех дворов, отошли на тот край, а он все играл. Призывали его мычаньем. Тогда выкинул он бойкой крутой дугой через плечо долгий кнут, перенял – и рассыпалось утренним крепким треском. И пошел догонять коров, а за ним побежала змейка, оставляя по росистой траве темный вертлявый след.

1913 г.